

Фаддей
БУЛГАРИН

Избранное



Фаддей Венедиктович Булгарин Иван Иванович Выжигин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=331162

Аннотация

Первый русский полноценный роман "Иван Выжигин" (1829) – кульминация творчества Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789–1859) Это плутовской роман с авторской идеей: "все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания".

Кто только ни ругал эту историю похождения главного героя, который после многочисленных приключений превратился из нищего сиротки в наследника огромного состояния и княжеского титула. Но широкий читатель сразу оценил занимательный роман и, "говоря, не нарадуется им: так и рвет из рук в руки".

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ГЛАВА I	8
ГЛАВА II	12
ГЛАВА III	16
ГЛАВА IV	19
ГЛАВА V	22
ГЛАВА VI	26
ГЛАВА VII	29
ГЛАВА VIII	36
ГЛАВА IX	41
ГЛАВА X	48
ГЛАВА XI	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Фаддей Венедиктович Булгарин Иван Иванович Выжигин

ПРЕДИСЛОВИЕ ПИСЬМО К ЕГО СИЯТЕЛЬНОСТИ АРСЕНИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЗАКРЕВСКОМУ

Прошло двадцать его лет с тех пор (писано в 1829 году), как я первый раз Вас увидел на поле сражения, в Финляндии, когда незабвенный граф Николай Михайлович Каменский вел нас к победам и вместе с нами преодолевал труды невероятные, противопоставляемые климатом, местоположением и храбрым неприятелем. Двадцать лет – много времени: пятая часть целого столетия! С тех пор многое переменялось в свете. Смотри философским оком на мир, я утешаюсь в моем ничтожестве тем только, что, при переворотах счастья, некоторые достойные люди, которых знал я прежде, достигли высоких степеней заслугами и постоянным стремлением к общему благу. Радость моя – бескорыстная. Я ничего не ищу, ничего не желаю, кроме уважения почтенных людей и благосклонности публики, которые стараюсь снискать моими трудами и тихою моею жизнью. Избрав Ваше Сиятельство из числа особ, коим посвящено сие сочинение, для объяснения пред ними намерений моих при издании его в свет, я пишу не к Министру, которого уважаю, но к человеку, которого люблю душевно. Вы не переменялись сердцем в течение двадцати лет и в Министерском Кабинете Вы так же добродушны с людьми, ищущими правды, каковы были на поле брани с военными товарищами. Надеюсь, что Вы благосклонно примете сие письмо старого солдата, который променял саблю на перо, чтоб подвизаться за правду – по крайнему своему разумению!

Любить отечество, значит – желать ему блага. Желать блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не могут иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира споспешествует усовершенствованию нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с какою целию сочинен роман: Иван Выжигин. В нем читатели увидят, что все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны Вере и просвещению.

Цель благонамеренной сатиры понимали все великие Законодатели России и часто сами прибегали к ее помощи для истребления пороков и предрассудков. Великий Петр повелел переводить с иностранных языков на русский многие полезные книги. Переводчик П_у_ф_ф_е_н_д_о_р_ф_о_в_ы_х_с_о_ч_и_н_е_н_и_й выпустил все колкое на счет тогдашних нравов и обычаев Русского народа и заменил сии места ласкательствами. Мудрый преобразователь России прогневался за это искажение подлинника, велел перевести книгу в настоящем смысле и посвятить Своему имени. "Не в поношение русским приказал Я напечатать сатиру на наши нравы, – сказал Государь, – но к исправлению. Пусть знают, чем мы были, чем мы теперь и чем быть должны. Если все, что в книге написано, неправда, то ложь нас не обесславит; а если сочинитель говорит правду, постараемся сделаться такими, чтоб слова его показались ложью". (См. Штелина, Голикова: Деяния П_е_т_р_а Великого, часть IV, и рукописные анекдоты о П_е_т_р_е Великом, Нартова.)

П_е_т_р Великий, при неусыпном попечении о гражданском благоустройстве России и о защите ее от завистливых соседей, не мог водворить литературы, которая требует для созрения много времени, и бросил только первые семена. Они принесли питательные плоды

не прежде царствования императрицы Е_к_а_т_е_р_и_н_ы Великой. В промежутки между сими двумя славными царствованиями начала расцветать Русская Словесность, и первым ее цветом были: _Сатиры Князя Кантемира_, которого по справедливости должно почитать первым из светских Российских писателей.

Великая Е_к_а_т_е_р_и_н_а дала жизнь и опору возрождавшейся Словесности и употребляла ее на очищение нравов. Рука, начертавшая Наказ и упрочившая благоденствие России мудрыми законами и великими политическими планами, в то же время умела владеть орудием благонамеренной сатиры. По повелению и под особым покровительством мудрой монархини издавался, в 1783 году, журнал, под заглавием: _Собеседник любителей Российского Слова_, в котором помещаемы были весьма резкия статьи о нравах. В этом журнале беспощадно разили пороки, предрассудки и причуды того времени, особенно между знатыми. Императрица Сама благоволила помещать статьи Своего сочинения в этом издании, и как по малой начитанности в тогдашнее время и по незнанию литературных приличий многие из русских читателей не понимали истинной цели сих сатирических статей, то мудрая монархиня повелела напечатать в журнале объяснение, которое я привожу, как любопытный памятник образа мыслей Е_к_а_т_е_р_и_н_ы Великой, насчет сатирических сочинений вообще, а также в улик тем, которые и поныне не понимают, какая может быть польза от сатиры нравственной.

"Когда я писал, я ни о ком не думал. Если не писать о слабостях, человеку сродных, то других и описывать нечего. Когда слабости и пороки не будут порицаемы, тогда и добродетель похвалена быть не может: чрез познание первых, последняя познается. Если же кто себя в книжке моей узнает в порочном или непохвальном изображении, он сам подвергнул себя или подобрел под оное, и здравый рассудок повелевает ему исправиться, а не сердиться. Требуется ли от кого, чтобы в украшенных убранством комнатах зеркала были разбиты для того, чтоб дурные лицом себя в них не узрели? Не сердись, но исправься, читатель; тогда, будучи в мире со мною, я тебя забавлять стану, а ты исправлением своих слабостей заслужишь общее с моим почтение" ¹.

Вот что я буду отвечать тем, которые захотят перетолковать цель моего романа!

Знаю, что искренность моего В_ы_ж_и_г_и_н_а не понравится людям, которые всякую правду, громко сказанную, почитают своевољством, всякое обличение злоупотребления приписывают дурному намерению; которые просвещение, единственное средство к благоденствию народов, почитают злом, и, подобно татям, желают водворения общего мрака, усыпления умов, глубокого молчания, чтоб поступки их были сокрыты. Им-то можно приписать то, что сказал бессмертный творец комедии _Горе от ума_:

_ "...Уж коли зло пресечь,
Забрать все книги бы – да сжечь!" _

Но, нет! Наше мудрое Правительство печется о просвещении, о водворении нравственности, и, вопреки толкам закоренелых староверов, поборников невежества, дает уму простор. Благонамеренные люди всех сословий чувствуют в полной мере великодушные намерения мудрых наших государей и готовы всеми силами споспешествовать общему благу. Цензурный Устав, высочайше подтвержденный Апреля 22-го 1828 года, есть самый прочный памятник любви к просвещению и к истине обожаемого нами, правосудного монарха, – памятник, достойный нашего века и могущественной России! Нам остается только молить Всевышнего, чтоб исполнители великодушных намерений нашего государя постигали Его

¹ См. часть 1, с. 9. Выписка сия напечатана курсивом и в подлиннике. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания Ф. В. Булгарина.)

великие предначертания: тогда счастье наше будет совершенным, и для словесности российской вновь наступит золотое время Державиных, Фонвизинных...

Наша знать не читает по-русски, чужда русской словесности; наши дамы даже редко говорят отечественным языком, и многие думают, что это важная преграда к возвышению словесности. Нет, это не преграда, но препятствие, которое, однако ж, не в состоянии удерживать ее стремления. Недоросль и Бригадир Фонвизина, Ябеда Капниста, Рекрутский набор, Неслыханное диво представлены были на театре, по воле мудрых венценосцев России. Вельможа Державина напечатан с соизволения Е_к_а_т_е_р_и_н_ы Великой. Итак, могут ли быть преграды там, где самодержцы действуют в духе своего времени, ко благу, то есть к просвещению своих подданных? Благодаря Бога, у нас есть еще истинные русские вельможи, заслугами приобретшие право приближаться к священным ступеням трона: они очистят туда же путь истине. Такие мысли утешают сердце и окрыляют ум.

Долгомставляю сказать несколько слов о моем романе, в отношении литературном. Школяры и педанты, желая непременно держать умы в тисках вымышленных ими правил для каждого рода словесности, сколотили особые тесные рамочки и требуют, чтоб каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы. Но школяры, скованные в уме своем цепью предрассудков, непременно требуют, чтоб во все времена, у всех народов поэмы писаны были как во времена Гомера и Виргилия, оды по правилам Пиндара и Горация, трагедии по-расиновски, комедии мольеровским покровом, нравственные романы в виде задач. По правилам надобно: чтоб герой романа действовал как Баярд, говорил сентенциями, как оратор, и представлял собою образец человеческого совершенства – и скуки. Когда сочинение мое было почти готово, я получил книжку прекрасного французского журнала, *Revue Britannique* (№ 29, 1887) и, к удовольствию моему, нашел статью, под заглавием: "От чего герои романов так приторны?". В ответ на этот вопрос автор говорит: "От совершенства, в котором их представляют. Это ангелы, а не люди". Далее говорит автор: "Нам представляют героев романа какими-то театральными божествами, и от того они также холодны. Многие думают, что представить их слабыми, нерешительными, подвластными обстоятельствам значит унижить их. Но мы люди, мы имеем слабости, и потому самые недостатки человечества занимают и трогают нас более". Таков был и есть мой образ мыслей на счет героев романа. Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам – одним словом: человек, каких мы видим в свете много и часто. Таким хотел я изобразить его. Происшествия его жизни такого рода, что могли бы случиться со всяким, без прибавлений вымысла. Понравится ли читателям моим эта простота в происшествиях и рассказе – не знаю. Пусть простят недостатки ради благой цели и потому, что это первый оригинальный русский роман в этом роде. Смело утверждаю, что я никому не подражал, ни с кого не списывал, а писал то, что рождалось в собственной моей голове. Пусть литературные мои противники бранят В_ы_ж_и_г_и_н_а: они будут иметь сугубое удовольствие – бранить и не получать ответа.

Я даже не касался нашей словесности орудием моей сатиры, потому что она требует еще– помощи, а не сопротивления; она еще не состарилась и не обременена болезнями, вредными нравственности. Литераторов же у нас так не много, что они в обществе не составляют особого сословия, как в других странах. Вредного у нас не пишут, а кривые толки о словесности и оскорбление достойных писателей не имеют никакого весу в публике и служат только к стыду самих пристрастных и незрелых критиков. Я оставил их в покое: лежащего не бьют!

Что же касается до нравственных портретов в моем романе, то их можно было бы умножить и представить многие вещи гораздо сильнее. Но я почел за благо следовать правилу нашего неподражаемого баснописца И. А. Крылова:

__Баснь эту можно бы и боле пояснить__:

Да чтоб гусей не раздражить__.

Вот побуждения и правила, которыми я руководствовался при сочинении В_ы_ж_и_г_и_н_а. Одобрение вашего сиятельства будет мне ручательством в добром мнении людей благонамеренных и самым сладостным утешением в кривом толке других.

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН С.-Петербург Февраля 6 дня, 1829 года

ГЛАВА I

СИРОТКА, ИЛИ КАРТИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВО ВКУСЕ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ

До десятилетнего возраста я рос в доме белорусского помещика Гологордовского, подобно доморощенному волчонку, и был известен под именем сиротки. Никто не заботился обо мне, а я еще менее заботился о других. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой, заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание.

Для меня не было назначено угла в доме для жительства, не отпускалось ни пищи, ни одежды и не было определено никакого постоянного занятия. Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе. Зимой я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе. Летом я ходил в одной длинной рубаше, подпоясавшись веревкою; зимою прикрывал наготу свою чем попало: старою женскою кофтой или полуразрушившимся армяком; этим убранием снабжали меня сострадательные люди, не зная, куда девать старые тряпки. Я вовсе не носил обуви и так закалил мои ноги, что ни мягкая трава, ни грязь, ни лед не производили в них никакого ощущения. Головы я также никогда не прикрывал: дождь смывал с нее пыль, снег очищал золу. Питался я остатками от трапезы дворовых людей, в разных отделениях дома, и лакомился яйцами, которые подбирал в окрестностях курятника и под хлебным анбаром; остатками в молочных горшках, которые я вылизывал с необыкновенным искусством, и овощами, краденными по ночам в огороде. У меня не было никакого непосредственного начальника, а всякий помыкал мною по произволу. Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или на берегу пруда стеречь утят и цыплят от собак и коршунов. Зимой меня употребляли вместо машины для оборачивания вертела на кухне, и это было для меня самое приятное занятие. Всякий раз, что повар или поваренки отворачивались от очага, я проворно дотрогивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигования и похищал котлеты из кастрюль. Главная моя обязанность состояла в том, чтоб быть на посылках у всех лакеев, служанок и даже мальчиков. Меня посылали в корчму за водкою, ставили на часы в разных местах, неизвестно для какой причины приказывая свистеть или бить в ладоши при появлении господина, приказчика, а иногда даже других лакеев и служанок. По первому слову: "Сиротка! сбегай туда-то; кликни того-то", – я пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью, потому что малейшее упущение влекло за собою неминуемые побои. Когда меня ставили на часы и не велели оглядываться (что особенно случалось в саду), я стоял как вкопанный в землю, не смел даже шевелить глазами и тогда только двигался, когда меня сталкивали с места. Иногда, хотя очень редко, меня награждали за мою усердную службу куском черного хлеба, старой ветчины или сыру; и я, как ни бывал голоден, всегда, однако ж, делился этим с моею любимой собакой, кудлашкою.

Видя, как других детей ласкают и целуют, я горько плакал, не знаю, по какому-то чувству зависти и досады; ласки и лизанье кудлашки облегчали грусть мою и делали сноснее мое одиночество. Смотря, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Мне хотелось любить людей, особенно женщин; но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. Меня все били и толкали: с досады, для забавы и от скуки. Когда я попадался навстречу лакею или служанке, получившим гонку или побои

от господ, они вымещали на мне свою досаду, стгоняя с дороги пощечиною или щелчком, с приговоркою: "Пошел прочь, _сиротка_"! Если я из любопытства хотел иногда посмотреть, как запрягают цугом лошадей, – кучера, чтобы возбудить смех в других зрителях, хлопали бичом над моею головою или стегали по ногам и заставляли меня с воплем прыгать под ударами. К псарям я не смел приближаться на расстояние длины арапника. Даже пастухи издевались надо мною: они, для шутки, вгоняли меня плетью в стадо и утешались, смотря, как я в страхе увертывался между коровами и овцами. Два господские сынка забавлялись, стреляя в меня из лука и травя малыми комнатными собачками, от которых, однако ж, защищала меня всегда моя _кудлашка_.

Самого барина я редко видал: встретив меня однажды на дворе, он запретил мне приближаться даже к окнам господского дома, и так страшно стукнул ногою, примолвив: "Прочь, зверенок!", что я не смел более показываться ему на глаза и прятался в собачью конурку, лишь только, бывало, завижу его издали. Барыню и двух барышень я видал не иначе как чрез забор в саду или в коляске и знал их только по нарядам. Приказчика и его жены я боялся, как смерти, потому что они несколько раз секли меня, в пример милому их сынку, который не хотел учиться азбуке, но любил разорять птичьи гнезда и швырять камнями в господских утят и цыплят: истребление домашних птиц этим негодяем приписывалось коршунам и моему несмотрению. В наказание за проказы этого шалуна, его заставляли смотреть, как меня секут, и слушать нравоучение, которое заключалось в сих словах: "Смотри, Игнашка, если ты будешь долее шалить и не станешь учиться, то и тебя будут так же больно сечь, как этого _сиротку_. Слышишь ли, как он визжит? Вот и ты запоешь этим же голосом!" В награждение за драматическое представление этого опыта нравоучения, жена приказчика давала мне кусок хлеба с сыром или крынку молока, которое я глотал пополам со слезами, не постигая ни причины наказания, ни милости.

Вот все, что я помню из первого моего детства, которое врезалось в моей памяти одними горестями и страданиями. Наконец судьбе угодно было облегчить тяжкую мою долю и, по крайней мере, включить меня в число словесных тварей. Эта перемена случилась со мною таким образом:

Одна из служанок, Маша, веселая и миловидная девушка, которая ставила меня на часы в саду чаще, нежели другие горничные, однажды встретив меня на дворе в сумерки, в осеннюю пору, подозвала к себе, погладила по головке и сказала:

– Возьми эту бумажку, _сиротка_; сожми крепко в руке и ступай в деревню. Там, в доме старосты, спроси, где живет офицер, отдай ему бумажку и воротись назад. Только никому не говори, что ты послан от меня, и если б кто хотел у тебя отнять бумажку, съешь ее, а не отдавай. Понял ли ты, _сиротка_?

– Понял.

– Ну, перескажи ж мне все, что я тебе сказала.

Я пересказал ей слово в слово, и она так была довольна этим, что чуть меня не поцеловала, и удержалась потому только, что я был слишком замаран.

– А знаешь ли ты дом старосты?

– Как не знать: третий от корчмы.

– Хорошо. А знаешь ли, что такое офицер?

– Ну, тот барин, что красные заплаты на кафтане, что ездит верхом и что ходит вечером...

– Довольно; вижу, что ты умен и расторопен; когда хорошо справишься, получишь много хлеба, мяса и всего: слышишь ли?

– Слышу, – отвечал я. С сим словом свистнул я на _кудлашку_ и побежал в голоп за ворота.

По большой дороге до деревни было три версты, а по известному одному мне пути, через плетни и огороды, не было и половины этого. Прибежав в дом старосты, я встретил в сенях офицера, которого знал в лицо, поклонился ему и отдал записку. Он осмотрел меня с головы до ног, улыбнулся и велел следовать за собою в избу. Там, посмотрев на бумажку, он казался очень довольным ею и в награждение за добрую, по-видимому, весть дал мне кусок сладкого пирога. Это было в первый раз в жизни, что я отведал этой лакомой пищи; я не мог удержать моего восторга, почувствовав во рту неизвестное мне дотоле, приятное ощущение; в глазах офицера начал я пожирать пирог, изъясняя мою радость громким смехом и прыжками. В это время вошел другой офицер, и они оба весьма забавлялись дикою моею простотой, при отведывании сахара, вина и разных сластей.

– Кто ты таков? – спросил меня тот офицер, к которому я был послан.

– Сиротка, – отвечал я.

– Кто твои родители?

– Не знаю.

– Как тебя зовут?

– Сиротка.

– Бедное твореньице! – сказал добрый офицер, погладив меня по лицу. – Я позабочусь о тебе. Не правда ли, что этот мальчик красавец? – примолвил офицер, обращаясь к своему товарищу.

– Правда, – отвечал другой. – Жаль только, что его держат как поросенка.

Ласки этих добрых офицеров до такой степени растрогали меня, что я, вспомнив о других детях, которых в моих глазах ежедневно ласкали отцы и матери, принялся горько плакать и бросился обнимать ноги людей, которые, в первый раз в жизни моей, обошлись со мною по-человечески. До сих пор рука человека поднималась на меня не иначе, как для побоев и толчков, и потому я живо ощущал ласки, которым сперва завидовал издали, никогда не испытывав их на себе. Мои слезы и благодарность произвели, как теперь постигаю, сильное впечатление в офицерах. Они удвоили свое нежное обхождение со мною и дали разных сластей на дорогу.

– Теперь ступай домой, сиротка, – сказал мне офицер, – и скажи тому, кто послал тебя: хорошо; но только так, чтоб тебя другие не слышали. Понимаешь ли?

– Понимаю: я дерну Машу за полу, отзову ее на сторону и скажу, что добрый барин сказал: хорошо!

– Прекрасно, бесподобно! Этот мальчик расторопен не по летам, – сказал офицер, – я из него сделаю человека. Прощай, сиротка!

Вообще все секретные поручения, близкие к сердцу поручающих, бывают источником счастья исполнителей, когда исполняются расторопно. То же случилось и со мною. Пришедши в господский двор, я тихонько пробрался в кухню и, заметив, что Маша с беспокойством на меня поглядывала и озиралась на все стороны, я не подал вида, что хочу говорить с нею, и вышел из кухни. Маша последовала за мною, и, когда я отдал ей отчет в моем посольстве, она тоже погладила меня, похвалила за расторопность, велела никому не рассказывать о происшедшем и обещалась на другой день наградить меня. Я провел приятнейшую ночь в жизни, под навесом, на соломе, с моею кудлашкою, которая согревала меня своею теплотою; мне всю ночь снились офицеры, с их пирогами и сахаром!

Утром, бродя, по обыкновению, возле кухни, чтоб поживиться чем-нибудь, я увидел Машу, которая подозвала меня к себе и велела за собою следовать к приказчику. Думая, что меня снова станут сечь розгами, для примера негодному его сынку, я горько заплакал и собирался бежать в деревню к офицерам. Но Маша уверила меня, что со мною не сделают ничего дурного, и я последовал за нею, дрожа, однако ж, от страха. Меня умыли, причесали, или, лучше сказать, выскребли, надели чистое белье, прикрыли каким-то кафтанишком и повели

в господские комнаты. Я был в таком точно положении, как овца в руках у пастуха, которая трепещет от боязни, не зная, стричь ли ее станут или резать. Меня поставили в сенях и велели дожидаться. Я крайне удивлялся, что лакеи и мальчики, проходя через сени, не били меня и не насмехались надо мною, по обыкновению. Это придало мне смелости; но когда дверь из комнаты вдруг отворилась, и я увидел господина, госпожу, барышень и господских сыновей, которые все шли прямо ко мне, бодрость меня оставила, и воспоминание о запрещении господина приближаться к окнам дома отозвалось в моей памяти. Мороз пробежал по всем моим жилам; я затрепетал, вскрикнул от ужаса и хотел было опрометью бежать из сеней; но меня остановили. По счастью, я заметил в числе зрителей офицера; бросился ему в ноги, охватил их ручонками и жалостно возопил:

– Не давай меня сечь, добрый барин; я, право, ничем не виноват!

– Бедный сиротка! – сказал офицер. – Как он загнан и напуган! Встань, дружок, – примолвил он. – Тебя не станут сечь, а будут кормить пирогами.

Слово "пироги" произвело во мне магическое действие. Я встал, обтер рукавом слезы и, осмотревшись кругом, заметил, что барин морщился и поглаживал усы, барышни держали платки возле глаз, барыня отворотилась от меня, а господские сынки из-за маменьки высовывали мне языки и делали гримасы.

– Господин _Канчуковский_! – сказал барин, обратившись к приказчику. – Этого мальчика я беру в комнаты и определяю, по просьбе старшей моей дочери, в _английские жокеи_, на ее половину. Пошлите за жидом, портным, в местечко, и велите его одеть по рисунку, который вам сообщит моя дочь.

– Слушаю-с, – сказал приказчик с низким поклоном.

– Мальчик мне нравится, – продолжал важно господин _Гологордовский_. – Удивительно, что я прежде не заметил его в доме.

Женщины начали меня ласкать и гладить.

– Как его зовут? – спросил барин у приказчика; но он, подобно мне, не мог отвечать на этот вопрос. Послали спрашивать у целой дворни, и по справкам оказалось, что меня доставили во двор под именем Ивана. С этих пор меня перестали называть _сироткою_, и я сделался известен в доме под именем _Ваньки Англичанина_, от одежды жокея. Не я первый, не я последний в свете заимствовал название и достоинство от платья!

ГЛАВА II

Г. ГОЛОГОРДОВСКИЙ И ЕГО СЕМЕЙСТВО

Когда Белоруссия принадлежала Польше, г. Гологордовский изъяснял большую привязанность к России и даже доказывал, что он происходит от древней русской фамилии, поселившейся в сем краю во время Мстислава Удалого. По присоединении сей страны к России, г. Гологордовский вдруг сделался приверженцем древнего польского правления и начал выводить род свой от камергера польского короля Попеля, съеденного мышами на озере Гопле, разумеется, по писаниям. Г. Гологордовский весьма сожалел о тех блаженных временах, когда сильный барин мог безнаказанно угнетать бедных шляхтичей и, называя их братьями своими, равными, бить батогами на подостланном ковре, в знак отличия от мужиков; сажать их в домашнюю тюрьму и отнимать имение по выдуманным притязаниям. Он особенно жалел о перемене обычаев на сеймиках, то есть на выборах дворянских. В старину богатый помещик привозил с собою, на нескольких телегах, бедных, но буйных и вооруженных шляхтичей, заставлял их выбирать себя и своих приятелей в разные звания, бить и рубить своих противников. Это называлось золотою вольностью.

Потеряв столь важные преимущества извне, г. Гологордовский ограничился внутренним управлением своего имения, на старый лад. Кроме многолюдной дворни из крепостных его людей у него находилось в услужении множество шляхтичей, которые думали облагородить свое низкое звание слуг почетными титулами. Двор г. Гологордовского составлен был точно так, как некогда у древних феодальных баронов и у старинных польских панов. Главные служители двора были: поверенный, или пленипотент по тяжёбным делам, которых по разным судам всегда было налицо две или три дюжины; комиссар, или главноуправляющий над всем имением; эконо́м, или приказчик; маршале́к, заведывавший столом и комнатными служителями; коню́ший, управлявший конюхами и конюшнею; кухми́стер, разумеется, начальствовавший над кастрюлями, поварами и поваренками; охми́стрыня, ключница или кастеля́нша, управлявшая служанками, бельем и кладовою, которая в польских домах называется аптечкою и вмещает в себе все сладкое: варенье, конфеты, сахар, кофе и многочисленный разряд водок и наливок. Кроме этих почетных служителей в доме жил, на всем готовом, капельмейстер, обучавший барышень и молодых господ музыке, и заведывавший оркестром, состоявшим из двенадцати человек, которые зимою исправляли лакейскую должность, а летом гребли сено и работали в саду. Капелля́н, или домашний священник, монах Иезуитского ордена, имел у себя в ведении трех учителей и надзирал над воспитанием детей г-на Гологордовского; сверх того, при них были француз, гувернер, и мадам, француженка, при барышнях. Садовник, немец, в то же время был советником по части земледелия. При самом барине был вольный камердинер, шляхтич, любимец и поверенный его в тайных делах, а при госпоже, для такого же употребления, находилась служанка, также из шляхетского рода, которая хотя исправляла всю службу горничной девушки, но по своему происхождению и заслугам пользовалась уважением в доме и называлась панною, то есть мамзелью. Барышни имели также по одной такой панне, из шляхтянок, которые заведывали их гардеробом и крепостными служанками, из коих одна при каждой даме носила звание гардеробной. Псовая охота составляла особое отделение и отчасти состояла в ведении конюшего, а отчасти и самого барина, большого охотника. В числе охотников также было несколько шляхтичей, называвшихся почетным именем стрельцов, то есть егерей. Главные из этих почетных служителей, как-то: поверенный, или пленипотент, комиссар, маршале́к, коню́ший, эконо́м, капельмейстер и гувернер, жили в доме со своими женами и детьми;

сверх жалованья получали они на стол съестные припасы, или ординарию, имели господскую услугу и держали своих собственных лошадей на господском корме. Все прочие вольные служители получали также ординарию, а крепостные люди отчасти живились с господского стола и, кроме того, имели свой особенный общий стол. Но как вольные слуги пропивали часть своей ординарии, а крепостные никогда не наедались досыта, то всякий рвал и крал, что мог и где случалось.

Сверх всей этой феодальной прислуги в доме жило, для компании и забав хозяев, несколько дворян и дворянок, забавников, приятелей, дальних родственников и родственников, которые назывались резидентами и резидентками, – звание, соответствующее нашим компаньонам, компаньонкам и поживальницам. Они не получали жалованья, но пользовались столом, кормили своих собственных слуг, а некоторые из них имели право держать и лошадей. В числе этих резидентов и резиденток было несколько холостых кредиторов г-на Гологордовского, несколько вдов старых служителей, которым он лет за двадцать службы не заплатил жалованья, и несколько сирот с капиталами, находившимися в распоряжении хозяина. Одним словом, в доме г-на Гологордовского было почти столько же ртов и желудков, сколько в целом имении рабочих рук; а от того рабочие руки весьма были истощены и весьма слабо двигались для наполнения желудков множества празднующих. Правда, что сам г. Гологордовский, его семейство и званые гости ели и пили хорошо, но за его огромным столом был так называемый _серый конец_, куда никогда не доходили лакомые блюда и вкусные вина и где в полной мере чувствовали неудобство от несоразмерности расходов с приходами.

Г. Гологордовский, в знак польского своего происхождения, носил длинные усы, которые он часто поглаживал, особенно когда разговаривал о важных предметах, то есть о дворянских выборах, процессах и ссорах со своими соседями. Всех их он почитал гораздо ниже себя, невзирая на то что многие из них были богаче его и полезнее для отечества своими заслугами и поступками. Гордость свою г. Гологордовский основывал на древности своего рода, которую он доказывал не историческими доводами о знаменитых подвигах, но судебными протоколами, в которых записаны были, в течение четырехсот лет, жалобы на разбои его предков и решения, осуждающие их на виселицу. Двухсотлетние и столетние фамилии он называл _новичками_ и не признавал достойными родниться с ним и обходиться на дружеской ноге. Особенное презрение и ненависть оказывал он к тем, которые сами составили себе имя честным образом, а не получили от предков. Он принимал у себя в доме всех без разбора, но угощал торжественно только _нужных_ ему людей, чиновников, капиталистов и заимодавцев, а был благосклонен особенно к тем дворянам, которые, имея в нем _нужду_, соглашались оказывать ему явное предпочтение, слушать без возражения его рассказы и брань против его врагов. Утро, когда нельзя было охотиться, г. Гологордовский проводил за процессными бумагами: их составлял поверенный, а он только, для забавы, прибавлял в бумагах ябеднические крючки, личности и выдуманные притязания. После того он обходил весь двор, чтобы насладиться поклонами многочисленных своих слуг. Позабавившись, за обедом, различными (не весьма тонкими) шутками насчет собеседников и собеседниц, он ложился спать, чтобы дать испариться винным парам, сгустившимся в голове от завтрака и обеда. Время до вечера посвящено было различным забавам, изобретаемым дамами; в этих увеселениях г. Гологордовский участвовал только как зритель. Вечером являлся Иосель, жид, арендатор мельниц и корчем во всем имении. Этот Иосель был всеобщим стряпчим целого дома, тайным поверенным господ и слуг, олицетворенною газетою или источником всех политических сношений, соблазнительных анекдотов, в окружности двадцати миль, и пересказчиком всего доброго и худого. Жид имел два могущественные талисмана для завладения сердцами: деньги и водку. Он был нужен всем, начиная от господина до последнего пастуха в деревне; все были ему должны, и все имели более охоты занимать, нежели пла-

тить. С этим жидом г. Гологордовский проводил большую часть вечеров за чашею пуншу, почерпая от жида различные известия о столице и о губернском городе, где он имел своих корреспондентов. Он вместе с жидом составлял проекты на продажу хлеба, вина, леса, на занятие денег, на неуплату старых долгов. С жидом он совещался о начатии новых процессов, о продолжении уже начатых и о бесконечном течении давно продолжающихся. Жид предлагал различные меры к умножению доходов, без всяких предварительных издержек; например, он подряжался перевозить тяжести на крестьянских лошадях, копать каналы в чужом имении, рубить леса, жечь угля поселянами г-на Гологордовского и т. п. Одним словом, жид-арендатор почитался после господина первым лицом в имении и для самого г-на Гологордовского был необходимее, чем голова на плечах, если б только рот можно было переместить на другую часть тела. Невзирая на такую тесную связь, жид, зная характер г-на Гологордовского, изгибался перед ним, льстил его гордости, присягою утверждая, что он одного только г-на Гологордовского почитает истинным барином и вельможею в губернии. Таким образом, пользуясь его доверенностью, жид, как истинный вампир, сосал кровь усыпленного человечества в имении Гологордовского, богател и, подобно болоту, принимая в себя всю живительную влагу, иссушал окружные источники богатства и порождал повсюду нищету и бесплодие.

Госпожа Гологордовская почитала себя гораздо выше своего мужа по происхождению. Говорила, что она никогда бы не вышла за него замуж, если б не была принуждена к тому каким-то особенным обстоятельством, в котором русский гусарский полковник играл важную роль. Впрочем, она жила со своим мужем весьма миролюбиво, и он старался во всем угождать ей. Она сама избирала свое общество, вымышляла забавы и увеселения, и муж только из чести был приглашаем разделять их со своим семейством. Г-жа Гологордовская никогда ни о чем не просила своего мужа: она забирала в лавках все, что ей было надобно или что нравилось, хотя вовсе не было надобно, и отсылала купцов к мужу, который должен был платить долги женины, несмотря на то что весьма неохотно уплачивать свои собственные. Впрочем, г-жа Гологордовская была очень добрая барыня, хотя и вовсе не занималась хозяйством; с слугами и служанками она обходилась вежливо, не заботясь, впрочем, об их нуждах и не выслушивая никогда до конца их справедливых требований. Она верила, от всего сердца, что ее ласковое слово и улыбка дороже всякому, нежели хорошая пища, одежда и жалованье. Она очень любила читать нежные романы, еще более любила рассуждать с мужчинами о любви, а всего более любила наряжаться. Несколько крепостных швей, обученных в Варшаве и в Петербурге, беспрестанно занимались шитьем и выкройками; почти всякую неделю приходили ящики и пакеты из Петербурга с чепчиками, шляпками, косынками, выкройками и разными тряпками. Всякий день она разряжена была куколкою, хотя бы вовсе не было гостей; а г. Гологордовский, который, при всей своей феодальной гордости, ходил дома в засаленном капоте, полупольского покроя, казался при жене своей первым из покорнейших слуг.

Дочери гг. Гологордовских, Петронелла и Цецилия, были прекрасны собою, ловки в обращении с мужчинами, смелы как драгуны, резвы и веселы. Они были отличные танцовщицы и музыкантши. Говорили очень хорошо по-французски, пели прелестно, одевались с большим вкусом и изысканностью, по примеру матери, и вместе с нею читали нежные романы. Обе они имели очень доброе сердце и даже не любили на прогулках проезжать через деревню, чтобы не видеть нищеты. Старшей, Петронелле, было 18, а младшей, Цецилии, 16 лет от роду.

Два сына, один по 12-му, другой по 14-му году, были настоящие обезьяны по хитростям, уловкам, злости, обжорству и скрытности. Они беспрестанно делали проказы то своим учителям, то сестрам, то слугам. Величайшие шалости приписываемы были родителями отличным способностям и изобретательному уму их деток, на которых они полагали

всю надежду своей фамилии и обходились с ними как с наследниками Монгольской империи. Имя _инфанта_, данное старшему сыну, в шутку, одним проезжим офицером, осталось при нем навсегда. Слуги, не понимая настоящего значения сего титула, иначе не называли маленького сумасброда, и это чрезвычайно утешало родителей, которые предвещали своим сыновьям генеральские чины, миллионы и невест-принцесс именно за те качества, с которыми в свете все теряют и ничего не приобретают.

Что же касается до прочих жителей дома, то их было так много, что я теперь не могу даже всех вспомнить, а когда я был впоследствии в доме г-на Гологордовского, многих уже там не застал. Отец иезуит, как иезуит, был загадкою для всех исключая барыни, при которой он исправлял звание духовника. Приказчик был олицетворенная плеть или машина для понуждения: все перед ним трепетало, исключая жида и любимых собак барина, до которых он не смел прикасаться. Маршале и конюший бессловесные твари, род кастрюль для варения съестных припасов. Вся их должность состояла в том, чтобы смотреть, выпуча глаза, на толпу суесящихся слуг, изгибаться перед господами, всегда говорить _да_, есть за четверых и упиваться каждый вечер варенухою. Поверенный принадлежал к числу тех людей, которых можно, без зазрения совести, сперва повесить, а после судить, зная наверное, что, разобрав каждую неделю их жизни, найдешь двадцать к тому причин. Душа его, так сказать, сотворена была из одних крючков и петелек, чтобы цепляться за все, на что ни взглянут его ястребиные глаза. У него не было ни правого, ни виновного, ни белого, ни черного. Законы он почитал словами, которых сила зависит от истолкования их в левую или в правую сторону. Одним словом, этот поверенный был профессор ябеды и после жида – первый советник г-на Гологордовского. Комиссар... бедный комиссар! Его должность состояла в смотре-нии за порядком по всему имению, в проверке счетов и собирании доходов; но как порядку не бывало, а доходы выбирались прежде времени и когда только было возможно, без всякого предусмотрения, то он с горя пил одиннадцать месяцев в году, а в двенадцатый месяц составлял отчет наобум, или, лучше сказать, делал смету доходов, переписывал набело и представлял господину вместе с обозрением того, что было предпринято (хотя и не исполнено) в течение года; это весьма радовало г-на Гологордовского, который полагал, что он в самом деле имеет столько доходов, сколько показано в _итоге_. Самая важная особа в доме была _охмистрыня_, или ключница, не потому, что она знала все секреты барыни и пользовалась неограниченною ее доверенностью, но потому, что в ее власти находились все крепительные соки, то есть ром, коньяк, горькие и сладкие водочки. Весь дом ласкался к ней, не исключая даже и барышень, которые от нее получали варенья и конфеты. Почтенная ключница громогласно объявляла ненависть свою к крепким напиткам, и хотя она всякий вечер, не дождавшись ужина, ложилась в постель с багровым лицом и носом, пламенеющим как зажженный огарок, но это происходило от того, что она страдала зубною болью и принуждена была часто брать спирту на зуб. Так, по крайней мере, она сама говорила. Нет сомнения, что г. Гологордовский очень верил этому лекарству: он весьма часто хватался за щеку и так часто посещал кладовую или аптечку, что протоптал к дверям неизгладимый след на полу _кутыми_ своими каблуками.

Вот люди, между которыми я был последний, по предназначению судьбы! Во время моего детства все они казались мне необыкновенными, высшими существами, солнцами! Впоследствии я узнал настоящую их цену и для того упомянул о них в этом месте, чтобы читатель не удивлялся, почему меня держали в доме, как дикого зверя. Впрочем, мы будем иметь случай встречаться впоследствии с некоторыми из упомянутых здесь лиц, и потому преждевременное знакомство с ними не будет излишним.

ГЛАВА III ЛЮБОВЬ

Все военные любят стоять на квартирах в Польше, невзирая на бедность крестьян, на неопрятство жидов, на различие в языке и вероисповедании с дворянами. Надобно сказать правду, поляки хлебосольны, любят и рады случаю пожить весело, а польки милы до крайности и привязаны вообще к чужеземцам более, нежели бы хотели того их мужья и братья. Военный постой, особенно артиллерии и кавалерии, весьма приятен помещикам, жидам и женщинам. Первые выгодно сбывают с рук произведения земли, вторые – свои товары, а женщины всегда находят обожателей, а часто и мужей, невзирая на духовные увещания католических ксендзов, национальные диссертации помещиков и беспокойства военной жизни. Каждая долгая стоянка полка в каком-нибудь уезде кончится обыкновенно парюю свадеб и парюю дюжен анекдотов, рассеваемых устарелыми красавицами на счет молодых женщин. От этих анекдотов скромные люди сперва приходят в ужас, потом не верят им, а наконец предаются забвению, до нового случая. Вообще польские женщины любезны, умеют нравиться и любить нежно, со всеми утонченностями романтической страсти, и хотя постоянство не составляет главной черты их характера, но в любви до того ли, чтобы думать о таких отвлеченностях? К тому же нет правила без исключения: возможно ли не любить полек единственно из опасения непостоянства? Польки чувствуют в полной мере, что женщины созданы для любви, и они всю молодость свою проводят в приятных мечтах. На польском языке даже существует особенный глагол, вымышленный для изображения самых милых, впрочем, самых пустых занятий в жизни: *романсовать* (*romansowac*). Это действие означает нежную, почтительную любовь, взаимные угождения, основанные на нравственности и благопристойности: оно нигде не может существовать, кроме Польши, где свободное обращение обоих полов не только позволительно, но даже почитается необходимостью. Одна только Италия превосходит Польшу свободою женщин. В Польше никому не покажется странным или неприличным, если замужняя женщина или девица говорит наедине с мужчиною, прогуливается с ним, рука об руку в отдалении от других, принимает от него небольшие подарки, угощения, не будучи за него помолвленной, просватанною или его родственницею. Нежные взгляды, сладкие речи, вздохи, посвящаемые стихи, музыка и даже письма не обращают на себя никакого внимания родителей или посторонних. Там явно говорят, что такой-то влюблен в такую-то; что он волочится за нею (*umizga sie*); что такая-то влюблена в такого-то, и все это не лишает доброй славы. Нежные любовники дают друг другу взаимные клятвы и обещания, строят воздушные замки будущего благополучия и после того расходятся хладнокровно, без всякого соблазна. Вот здесь кстати вспомнить пословицу: что город – то норы, что деревня – то обычаи. Между тем я честию могу уверить моих читателей, что, несмотря на самое свободное обращение, нигде, может быть, нет столько добродетельных девиц, как в Польше: вольно верить, вольно не верить... О замужних женщинах я не упоминаю здесь вовсе, потому... потому, что это не идет теперь к делу.

В деревне г-на Гологородовского стоял на квартирах поручик Миловидин со взводом гусарского полка. Он имел все хорошие и дурные качества молодого кавалериста: был храбр, честен, знал службу, но часто бывал в ней неисправен от ветрености и от излишней страсти к забавам. Не будучи вовсе корыстолюбивым, он пускался в большую игру и часто проигрывался в карты до последней копейки, единственно от скуки или от нечего делать; с природною склонностью к воздержности, из одного молодечества пил венгерское вино, как воду, а шампанское, как квас. Главным его занятием было волокитство. Прекрасный собою, ловкий, остроумный, выросший в кругу лучшего московского общества, отличный танцор,

музыкант, живописец, начитанный произведениями французской словесности и одаренный необыкновенною памятью, Миловидин, избалованное дитя счастья, был предметом любви всех женщин, в окружности двадцати пяти миль. Для него давали праздники, его везде хотели иметь в гостях, и, что всего удивительнее, мужчины, то есть помещики, не только не сердились на него за явное предпочтение, оказываемое ему женщинами, но даже любили его. Миловидищ был, в полном смысле, «добрый малый»: откровенен и, со всем своим остроумием, простодушен. Он не спорил с поляками о политике, пил с ними за здоровье прежних патриотов и бранил от чистого сердца чиновников: за это пользовался доверенностью старых и дружбою молодых помещиков, которые непременно хотели производить род Миловидина из Польши или, по крайней мере, из Лифляндии. Важная почеть, которой немногие дослуживаются в Польше!.. Сердце у него было такое просторное, что он мог любить пятьдесят женщин в одно время, не изнывая от любви и не утомляя себя, вздохами и страданиями. В это время он отдавал преимущество, пред всеми женщинами и девицами, Петронелле Гологордовской, которая, просто сказать, была влюблена в него без памяти. Теперь не нужно тебе догадываться, любезный читатель, от кого и к кому я был послан с письмом в деревню! Теперь ты понимаешь, почему меня прямо произвели в «английские жокеи» и определили для особенных поручений к старшей дочери г-на Гологордовского. Без сомнения, ты, любезный читатель, уже догадался, что я занял звание «любовного почтальона». Так точно: вся моя должность состояла в том, чтобы во время стола стоять с тарелкою за стулом моей барышни и переносить письма из господского двора и квартиру поручика, что я исполнял с особенною осмотрительностью, точностью и скоростью; за это я был любим; моею барышнею, а вследствие этого и целым семейством г-на Гологордовского. Прозвание «сиротки» уже не было для меня знаком унижения; напротив того, выражало нежность и сострадание и произносимо было с участием и особенным умилением. Дворня, следующая всегда примеру господ, ласкалась ко мне столько же, сколько прежде меня презирала. Перемена в судьбе моей произвела быструю перемену и в моем рассудке, который от природы был хорошо устроен. Я в полгода понял все, что прежде казалось мне загадкою, превзошел в расторопности всех дворовых мальчиков, воспитанных в господских комнатах, и сделался, как говорится, «плутишкой», или «острым мальчиком». Всею этою счастливою переменою я обязан любви!

После приятных дней любви и наслаждения наступила гроза. Полк получил повеление выступить в другую губернию, и это нечаянное происшествие повергло в отчаяние все женское народонаселение целого уезда. Доктора переезжали из одного дома в другой; аптекарская лаборатория пришла в движение; посланцы скакали во всю прыть по всем дорогам, то в город с рецептами, то с письмами. Казалось, будто чума или какая заразительная болезнь свирепствовала в окрестностях. И в самом деле, спазмы, мигрени, «ваперы», нервные припадки, «вертижи» одолели прекрасный пол. Особенно моя барышня, Петронелла Гологордовская, пришла в совершенное изнеможение. Она слегла в постель, поклялась умереть от любви и отказывалась принимать лекарство, прописанное доктором от простудной лихорадки. В самом деле, положение ее было опасное. Беспрестанные слезы и рыдания, бессонница и внутреннее волнение могли дать дурное направление небольшой простуде, полученной в саду, во время поздней беседы с милым другом. Она не хотела принимать никаких советов и утешений от родителей, сестры и подруг и тогда только успокоилась несколько, когда Миловидин дал ей честное слово возвратиться как можно скорее и браком увенчать нежную любовь. Самолюбие Миловидина было тронуто таким сильным изъявлением страсти прелестной Петронеллы; он от роду не видал, как хворают и умирают от любви, и, будучи свидетелем и предметом сцены, достойной украсить самый нежный роман рыцарских времен, Миловидин разнежился и решился наградить прелестную страдальницу своею рукою. Но это обещание дано было втайне, без ведома родителей. Они положили переписываться

между собою посредством жида-арендатора, которому Миловидин грозил отрубить нос и уши в случае измены, а между тем, во время своего отсутствия, он поручил тетке Петронеллы, со стороны матери, устроить сватовство. Любовники предвидели трудности в получении согласия отца Петронеллы, который питал себя надеждою, что какой-нибудь путешественный принц, хотя бы азиатский, или по крайней мере вельможа пожелает облагородить поколение свое союзом с фамилиею Гологордовских. Но как из всех глупостей человечества любовь есть самая сильная, то и наши любовники надеялись превозмочь высокомерие и упрямство г-на Гологордовского или переступить через них насильно.

ГЛАВА IV СВАТОВСТВО

Зима прошла скучно. Г. Гологордовский должен был выезжать несколько раз в губернский город для своих тяжб, кончившихся не весьма благополучно. Тяжебные расходы принудили его к некоторой бережливости в доме и заставили семейство г-на Гологордовского остаться в деревне во время дворянских выборов, куда на несколько недель стекло все дворянство. Это обстоятельство повергло в меланхолию г-жу Гологордовскую и младшую дочь; старшая и без того уже страдала сердечным недугом. Тщетно отец иезуит проповедовал о суете мира сего: его слушали со вздохами и перерывали, чтобы начинать разговор о балах и нарядах. Г-жа Гологордовская сожалела только о том, что ее отсутствие во время выборов подаст посетителям из других губерний и военным людям весьма дурное понятие о вкусе женского пола, в отношении к нарядам, и что без ее дочерей нельзя будет танцевать мазурок и французских кадрилией. После этого предисловия начинался критический разбор всех женщин целой губернии, от тридцатипятилетних до шестнадцатилетних, а в заключение оказывалось, что одна только г-жа Гологордовская и ее дочери не имели никаких нравственных и физических недостатков, а все прочие женщины крайне обижены были природою. Поживальницы, или резидентки, доверенные мамзели – компаньонки, жены поверенного и комиссара и даже отец иезуит подтверждали своим согласием мнение г-жи Гологордовской, и это служило ей некоторым утешением в горе. Если б десятая часть мнений г-жи Гологордовской насчет женщин была справедлива, то мужчинам надлежало бы искать жен не только в другой губернии или в другом царстве, но и на другой планете. По счастью, все матушки точно так же думали о себе и о своих дочерях, как г-жа Гологордовская, и потому всем недостаткам женщин надлежало верить, принимая их только в сложном числе.

Миловидин остался постоянен. Он на всякие десять писем Петронеллы отвечал одним, весьма нежным и притом забавным, писанным на бумаге розового, зеленого или голубого цвета: тогда была еще такая мода в провинциях. Хотя я не мог читать этих писем, но заключал о их содержании по расположению духа моей барышни, которая, перечитывая их стократ, всегда начинала слезами, а оканчивала смехом. Миловидин описывал ей новые свои знакомства, различные приключения, характеры и анекдоты, которые утешали мою барышню в разлуке и веселили обеих сестер. Жид верно исполнял порученную ему должность: он получал с почты и пересылал письма с величайшею точностью. Невзирая на то что я теперь был бесполезен моей барышне, она продолжала любить и ласкать меня: со мною соединены были сладостные воспоминания, и, кроме того, Миловидин особенно рекомендовал меня ее покровительству.

Наступила весна: вся природа ожила, но розы не расцвели на щеках прекрасной Петронеллы. Она день ото дня становилась печальнее и не могла без слез смотреть на птичек, сидевших парами на ветках. Все знали причину ее горести; но, исключая сестры, верной Маши и жида, никто не напоминал ей о милом и не утешал ее надеждами.

Однажды, в приятный весенний день, на закате солнца, все семейство г-на Гологордовского полдничаало в саду. Жареные цыплята с салатом, приправленным сметаною, и бутылка Венгерского, подаренная, как редкость, жидом-арендатором, привели г-на Гологордовского в такое веселое расположение духа, что тетюшка вознамерилась воспользоваться этим случаем к исполнению своего поручения. Она дала знак барышням, чтоб они удалились, и завела речь, сперва издали, о счастии супружества по взаимному выбору сердец, коснулась жалкого состояния Петронеллы, изнывающей от любви, а наконец напрямки объявила, что она уполномочена от Миловидина и своей племянницы просить согласия родителей на брак, и

вынула из-за пазухи письмо. Г-жа Гологордовская молчала во время рассказов своей двоюродной сестры, вздыхала, посматривала на небо и покачивала головою. Напротив того, г. Гологордовский при первых словах тетки начал оказывать нетерпение и досаду. Сперва он удвоил глотки вина, потом покраснел, а наконец, когда осушил бутылку, пришел в бешенство, сильно ударил кулаком по столу, так, что вся посуда запрыгала, и грозно воскликнул:

– Довольно!

Тетушка не испугалась, однако ж, этой бури, и спокойно сказала:

– Я не вижу, что бы могло препятствовать этому браку.

– Многое, очень многое, сударыня, – отвечал г. Гологордовский. – И вы не видите этого потому, что никогда не заглядывали в мой домашний архив и, вероятно, не примечали фамильных портретов в столовой зале.

– Но разве Миловидин не дворянин? – примолвила тетушка. – Его отец и дед были в генеральских чинах.

Г. Гологордовский горько улыбнулся.

– Сударыня, – сказал он, – прежде вас я расспрашивал Миловидина об его роде и от него самого узнал, что его дворянство начинается только от прадеда.

– Неужели этого мало? – спросила тетушка.

– Так мало, что меньше быть нельзя для вступления в союз с фамилиею, которая считает свое дворянство от пятидесяти поколений. Итак видите, сударыня, что мое дворянство относится к дворянству г-на Миловидина, как пятьдесят к трем, следовательно, между нами есть _маленькая_ разница. – При этом он лукаво улыбнулся.

– Но в наше время старые и новые дворяне имеют одно право на почести, и одна только заслуга, или по крайней мере служба, доводит людей до высоких званий, – сказала тетка.

– Это не наше дело, сударыня, – отвечал г. Гологордовский. – Вы знаете старую нашу поговорку: шляхтич на одном огороде равен воеводе.

– Следовательно, Миловидин равен вам, – примолвила тетка.

– Нимало, – возразил г. Гологордовский. – Это значит, что только дворяне, равные родом, равны между собою, невзирая на различие в чинах. Притом же одной древности происхождения недостаточно, чтоб быть моим зятем: надобно богатство – и огромное богатство, для поддержания блеска соединенных фамилий, а Миловидин гол как сокол.

– Правда, что отец Миловидина прожил все свое состояние на службе, – сказала тетка, – но у него есть богатый и бездетный дядя, который не намерен никогда жениться. Он очень любит своего племянника, содержит его в службе и намерен сделать его своим наследником.

– Откуда эти вести? – спросил г. Гологордовский.

– У меня есть собственноручные письма дяди к Миловидину, – отвечала тетка.

– Все это воздушные замки: стыдитесь, сударыня, унижать род свой до такой степени, чтоб осмелиться предлагать мне союз с человеком без имени и без состояния, – сказал г. Гологордовский важно и встал с своего места. – Прошу вас не говорить мне впредь об этом, если хотите сохранить мою дружбу.

– Очень хорошо, – возразила тетка, покраснев с досады, – но позвольте мне сделать одно замечание: неужели вы захотите уморить дочь свою от любви и выдать ее замуж противу склонности сердца?

– Не заботьтесь об этом, сударыня, – сказал г. Гологордовский. – Девушки от любви не умирают и даже бывают очень счастливы в супружестве противовольном. Доказательством этому служит ваша двоюродная сестра, а моя любезная жена, которая также была влюблена в офицера перед свадьбою, и три раза падала в обморок прежде произнесения рокового _да_, перед брачным алтарем. Все перемоглось наконец, и я надеюсь, что г-жа Гологордовская не жалуется на несчастную свою участь, хотя муж ее не носит шпор и мундира. Не правда ли,

душа моя? – примолвил г. Гологордовский, поцеловав нежно жену свою, в первый раз с тех пор, как я находился в комнатах.

– Да... правда... – отвечала жена с глубоким вздохом.

– Велите заложить линейку и оседлать мне верховую лошадь! – сказал г. Гологордовский. – Милостивые государины! не угодно ли вам прогуляться со мною, версты за три? Я вам покажу нечто новое: корчму, которую строю теперь на самой границе моей и под боком соседа моего Процессовича. Корчму эту я назвал _Рожон_: это будет настоящий рожон в глаза моему любезному соседу. Не правда ли, г. маршалец?

– Сущая правда, – отвечал маршалец с низким поклоном.

– Я велю в этой корчме продавать водку гораздо дешевле, нежели она продается в корчме Процессовича, и таким образом переманю к себе всех его мужиков. Не правда ли, г. комиссар?

– Точно так, – отвечал комиссар. – Если он вздумает выгонять своих мужиков из моей корчмы, то я позову его в суд, на расправу, за насилие. Не правда ли, г. пленипотент?

– Точно так, сущая правда, – отвечал поверенный. – Мы позовем его в суд уголовный, *pro expulsione et violentia*.

Пока г. Гологордовский продолжал разговаривать таким образом со своими служителями, которые во время сватовства стояли в некотором отдалении, г-жа Гологордовская пошла в комнаты одеваться, а тетка соединилась с барышнями и, отведя их в темную аллею, пересказала, по-видимому, о следствии своих переговоров. Не знаю, что происходило между ними, но я, к крайнему моему удивлению, не приметил слез в глазах барышни, когда она вышла на крыльцо, чтобы садиться в линейку. Напротив того, мне показалось, что она была веселее обыкновенного.

ГЛАВА V

БАЛ И ПОХИЩЕНИЕ

Г. Гологордовский хотел праздновать рождение своей жены и вместе с тем выигрыш тяжбы о десяти десятинах земли. Тяжба эта продолжалась тридцать лет и каждой стороне стоила в шестьдесят раз более, нежели предмет спора. Но как главное дело состояло в том, чтобы поставить на своем, то публичное изъявление радости служило как бы вознаграждением за все оскорбления и издержки, понесенные во время тяжбы, и вместе уничтожением противника. За неделю вперед разосланы были приглашения к родным, соседям и даже далеким знакомым в губернии. Жид-арендатор приставил двух других жидов, подрядчиков, для доставления вин и пряных кореньев к столу. Эти мнимые подрядчики, как я после подслушал у приказчика Канчуковского, продавали товары, принадлежавшие нашему арендатору, который не хотел ставить припасы от своего имени, оттого что опасался уплаты обязательством или векселем, в чем не смел отказать г-ну Гологордовскому. Но как наличных денег в доме не было, а хлеб еще не поспел, то посев пшеницы и ржи был продан десятинами в поле, или, как говорится, _на корню_. Наш арендатор взял доверенность от мнимых поставщиков для получения хлеба после снятия его и умолота и трех дюжин телят, после рождения, с условием кормить в продолжение восьми месяцев. Таким образом г. Гологордовский, продав хлеб в недрах земли и скот прежде рождения на свет, получил огромный запас вина и столовых припасов, которые долженствовали исчезнуть в одни сутки. Все охотники из деревень разосланы были в леса для припасения дичи: им роздано было по фунту пороху и по три фунта дробы, с условием доставить непременно по шестьдесят штук дичины. На два фунта пороху полагалось три законные промаха, а за остальные надлежало вносить в господскую казну по гривне серебром. Жид-арендатор представил г-ну Гологордовскому список всех крестьян, у которых были куры, цыплята, яйца и масло. К этим хозяевам отряжены были дворовые люди для взятия всего этого доброю волею или насильно. Тем, которые отдадут по доброй воле, обещано было вознаграждение уступкою, по цене нескольких дней барщины; противящимся велено было напомнить о существовании г-на Канчуковского и погрозить экзекуцией. Экзекуциею в польских губерниях называется откомандировка к мужику несколько дворовых людей, обыкновенно буянов, которые до тех пор бушуют, едят и пьют в доме, пока крестьянин не заплатит должных податей или каких-нибудь господских повинностей. Иногда эти экзекуции посылаются в наказание за неисправность в работе, за грубость противу жида и за другие разные причины. Приготовления к балу, в продолжение семи дней, произвели в господском доме необыкновенную суету и кутерьму. По деревням был совершенный разбой, неприятельское нашествие! Голодная дворня действовала, как настоящие мародеры. Они искали кур в сундуках, масла в белье и яиц за пазухой, похищали что могли и где могли и всеми возможными средствами обижали бедных поселян и баб. Беда, сушая беда, когда людям низкого звания, без воспитания и нравственности, достанется власть! Они стараются на других вымещать все свое унижение и думают, что возбуждают к себе уважение, когда заставляют других трепетать перед собою. На господский двор беспрестанно прибегали мужики и бабы с жалобами, что от них требуют невозможного; клялись, что жид показал на них ложно; что они не имеют того, что с них взыскивают. Тщетные жалобы! Г. Гологордовский верил жиду более, нежели жене и детям; он отсылал жалующихся к г-ну Канчуковскому, который одним своим видом сгонял их со двора. На кухне производилась работа день и ночь, а чтобы предупредить воровство, к дверям кухни приставлены были, из конюхов, часовые, которые сами крали куски мяса, кур и яйца и ночью относили в корчму. Все служители заняты были чисткою и уборкою комнат. В первый раз, в течение года, потрево-

жены были пауки и согнаны с фамильных портретов. Дубовые и ольховые кресла обтянуты новою холстиной. Мебели красного дерева, украшавшие две комнаты в целом доме, вместо лаку, смазаны были деревянным маслом. Полы выскоблили наново, потому что вымыть их было невозможно. Все зеркала из флигелей, принадлежавшие почетным слугам, резидентам и поживальницам, внесены были в господские комнаты, которые, сверх всех перемен и обновок, убраны были, накануне праздника, фестонами из еловых и сосновых ветвей. Домашние музыканты повторяли и учились беспрестанно на гумне, где отец иезуит, большой химик, по мнению целой губернии, приготавливал фейерверк для сюрприза г-же Гологордовской; два охотника работали под его ведением. Для гостиних лошадей отведена была особенная конюшня и приготовлен запас _гостиного сена_, то есть десятка два возов осоки и болотной травы, которой невозможно было истереть жерновом, а не только конскими зубами; _гостиний_ овес перемешан был пополам с резанною соломой, или сечкою, и с мякиною. Законы гостеприимства повелевают, чтоб гости, слуги их и лошади были сыты; но как хозяин должен заботиться об угощении и уподчивании господ, то если слуги и лошади голодны, вся вина сваливается, обыкновенно, на управителя, в таком случае, когда какой-нибудь гость вздумает о своих лошадях и слугителях. Впрочем, с _нужными людьми_, то есть с губернскими и уездными чиновниками, поступают иначе и поручают их слуг и лошадей особенному надзору маршалка и конюшего.

Наконец наступил день торжества. Множество гостей съехалось к обедне. Кареты, коляски, брички и каламажки (род тележек) заняли все пространство между конюшнями и скотным двором. Почти каждое семейство имело с собою по двенадцати лошадей: шестерку в своем экипаже, четверку в бричке, в которой ехали слуги и служанки, с сундуками и картонками, и пару в каламажке, с чемоданами, постелями и кастрюлями, для приготовления обеда в дороге. Холостые приезжали шестериком, а весьма редкие четвериком. Некоторые семейства приехали еще с большим числом лошадей, потому что число лошадей означает важность господ, и я, право, не почитаю дурным, что г. Гологордовский вздумал кормить эти табуны мякиною и болотною травой. Это обыкновение, приезжать в гости с целою своею конюшнею на чужой корм, есть то же самое для хозяина, что набег татарской орды, и если бы помещики для этого не выдумали _гостиного фуража_, который есть не что иное, как декорация настоящего, то два бала в деревне лишили бы помещика годового запаса овса и сена. Но как никакое собрание не может обойтись без скотов, то главное дело в том, чтоб уметь сбывать их с рук, благоразумно.

После обедни наступил завтрак, или, лучше сказать, _водкопой_, потому что дамы очень мало ели, а мужчины более пили. Разноцветные и разнкусные водки беспрестанно переходили, для пробы, из рук в руки, пока графины не опустели. Тогда гости пошли в сад, к дамам. Между тем в комнатах начали накрывать обеденный стол, а как гости беспрестанно съезжались, то четыре лакея продолжали разносить в саду водки и закуски.

В два часа пополудни, когда кушанье поставлено было на стол, музыканты, под предводительством капельмейстера, построились на крыльце, ведущем в сад, и заиграли Польский. Это было сигналом к обеду, и все гости собрались в большой аллее. Г. Гологордовский предложил руку почетнейшей гостье, жене губернского маршала; маршал повел г-жу Гологордовскую, и таким образом в две пары рядом пошли в столовую залу. Прочие гости также попарно следовали за хозяевами, и все поместились за столом, как шли, то есть женщины рядом с мужчинами. Правда, что г. Гологордовский почетнейших гостей умел посадить выше, невзирая на то что они позже пришли в залу. Прежде, нежели уселись, он вызывал их по чинам из толпы и просил занять место поближе к хозяйке, приправляя эти вызовы разными шутками и прибаутками. Обед был великолепный, и хотя за столом сидело более ста человек собеседников, кушанья было довольно. В рассуждении вина соблюдаем был следующий порядок. Обыкновенное столовое вино, францвейн, поставлено было в графинах

перед гостями; лучшие вина различных доброт разносимы и разливаемы были лакеями, под начальством маршалка и конюшего. Первый, с тремя лакеями, был на правой стороне стола, а другой, с таким же числом лакеев, на левой. На каждой стороне первый лакей заведовал бутылками с самым лучшим вином, второй с посредственным, а третий с самым обыкновенным, принадлежавшим к разряду лучших вин по одному только названию. Маршалек и конюший, по предварительному условию, понимали из слов г-на Гологордовского, какому гостю надлежало наливать какого вина, из трех сортов; например, когда г. Гологордовский говорил гостю:

– Прошу вас откусать, милостивый государь, сделайте честь моему вину; уверяю, что оно того стоит, – тогда наливали вино первого разбора.

– Откусайте винца, оно, право, не дурно, – означало второй разбор.

– Вы ничего не пьете; гей, наливайте вина господину! – означало третий разбор.

Кажется, г. Гологордовский совершенно знал вкус своих гостей, потому что все они пили вино добрым порядком и даже предупреждали желания и понуждения хозяина. Впрочем, я почитаю поведение г-на Гологордовского весьма благоразумным: зачем потчивать гостя тем, чего он не понимает и когда он столь же доволен названием, как и добротой вина? Одни пьют шампанское и венгерское оттого, что находят в них приятный вкус; а другие для того только, чтобы сказать: мы пили шампанское и венгерское! Кто не знает правила: "Не мечите бисеру, да не попрут его ногами". В конце обеда принесли огромный бокал с вензелями и надписями. Г. Гологордовский налил в него вина, провозгласил здоровье своей супруги и, при громогласных восклицаниях: виват! при грое музыки и литавров, выпил до дна, поклонившись прежде своему соседу и примолвив: "В ваши руки". Точно таким порядком круговая чаша пошла из рук в руки. Наконец, когда все собеседники отказались пить под важным предлогом, _что еще день не кончился_, хозяин встал, все гости за ним, и каждый, взяв под руку одну или двух дам, пошел, покачиваясь, в сад, где в беседке ожидали их кофе и закуски. Лишь только господа оставили столовую залу, лакеи, свои и приезжие, музыканты и даже служанки, бросились, как ястребы, на остатки пиршества и, не слушая грозного голоса маршалка и конюшего, растаскали все по кускам и выпили все початые бутылки. В кухне происходил еще больший беспорядок, при раздаче кушанья слугам. Приезжие, без дальних формальностей, распорядились сами, овладели кастрюлями и удовлетворили дорожному своему аппетиту. Припоминая теперь все обстоятельства этого пиршества, я уверен, что половиною всех издержанных припасов можно было бы вполне удовлетворить и господ и слуг; но для этого надобен порядок, а он был в разладе с домом г-на Гологордовского.

После обеда некоторые старики пошли отдыхать; большая часть гостей обсела и обступила игорные столики, где некоторые записные промышленники, или, просто, охотники, метали банк и штос. Все эти господа, которые за столом громко жаловались на дурные времена, на упадок торговли хлебом, на безденежье, сыпали на карты золото, серебро и пучки ассигнаций. Некоторые из них, проигравшись до копейки, тут же, сгоряча, продавали своих лошадей, экипажи, скот домашний и медную посуду из своих винокуренных заводов и, в надежде отыгаться, еще более проигрывали. Молодые люди и старые волокиты беседовали с дамами и, разогретые вином, объяснялись в любви или занимали женщин своим балагурством и веселыми рассказами. Наконец, когда на дворе сделалось сыровато, дамы пошли в комнаты переодеваться и приготовляться к танцам. В восемь часов осветили комнаты, музыка заиграла, и г. Гологордовский открыл бал полонезом со своею женою. Танцы продолжались до 12 часов; в эту пору все гости пошли к ужину.

Ужин был столь же изобилен и роскошен, как и обед, только попойка приняла другой оборот. Почти все гости перепились до последней степени. Музыкантов прогнали в другую комнату, и начались объяснения в дружбе между мужчинами, обниманья, целованья и обе-

щения забыть все ссоры и взаимные неудовольствия. Дамы призываемы были в свидетельницы этих примирений и должныствовали ручаться в исполнении обещаний двух сторон. При знаменитом тосте: возлюбим друг друга (*Kochaamy sie*) – гости пили полную чашу, стоя один перед другим на коленях или обнявшись. Наконец обратились к дамам и начали пить за здоровье каждой из них, из их собственных башмаков. Мужчина, став на колени перед дамою, снимал башмак с ее ноги, после того целовал почтительно ее в ногу и в руки, ставил рюмку в башмак, а иногда и наливал в него вина, выпивал и передавал другому. Вдруг залп из двадцати четырех ружей и из нескольких фалконетов потревожил веселящихся гостей. Все бросились к окнам и увидели среди двора горящий вензель виновницы празднества. Радостное _виват_ снова раздалось в зале; заиграли _туш_, и огромный бокал снова явился на сцену. Несколько десятков ракет и бураков взлетели на воздух, к удовольствию зрителей. Но от неумения ли или от оплошности, несколько ракет лопнуло в соломенной крыше гумна, и как ветер был довольно сильный, то в несколько минут кровля вспыхнула и все хозяйственное строение загорелось. Трудно вообразить себе смятение, возбужденное этим нечаянным случаем. Пьяные господа суетились; слуги не знали, что делать. Все приказывали; никто не хотел исполнять. Пожарных труб вовсе даже и не знали, и потому каждый бежал на пожар с ведром, с топором, с рогатиною, и никто не смел приступить к пламени. Ударили в набат, послали за людьми в деревню; но они, как казалось, не очень охотно поспешали на помощь своему господину. Гости приказывали наскоро запрягать своих лошадей и укладывать вещи. Домашние слуги заботились о сохранении серебра и столового белья от расхищения. Суматоха, беспорядок, крик, шум, беготня свели бы с ума самых хладнокровных людей: все перевернулось вверх дном в доме.

Я в испуге не знал, что делать; стоял на крыльце, смотрел на огонь и собирался плакать. Вдруг явилась Маша:

– Ванька! Я тебя ищу, ступай за мною.

Мы побежали опрометью через все комнаты в спальню моей барышни. Маша надела мне на голову мой картуз с галуном, который хранился в гардеробе барышни, дала мне узелок и коробочку, накинула на себя капот и велела мне за собою следовать. Мы пробежали чрез сад, перелезли чрез разобранный забор и очутились в поле, возле рощи. Там стояла коляска, запряженная четверкою лошадей. В темноте я не мог распознать, кто сидел в коляске. Маша села наперед; большой усатый лакей посадил меня на чемодан сзади коляски, а сам сел на козлы, рядом с кучером. Поворотили лошадей, шагом доехали до большой дороги, лежавшей от этого места в полуверсте, и помчались во всю прыть. Как ни был я измучен суетою и беготнёю того дня, но не мог сомкнуть глаз. Пожар беспрестанно представлялся моему воображению, и я трепетал о судьбе моей барышни, полагая, по тогдашнему моему суждению, что, вероятно, все должно сгореть в доме, и что потому именно Маша спасается бегством вместе со мною. Я думал, что этот экипаж принадлежит кому-нибудь из гостей. В коляске я слышал шепот, но не мог различить слов и узнать говорящих по голосу. Наконец с утреннею зарей мы приехали на первую почтовую станцию.

ГЛАВА VI

БРАК, РАЗЛУКА С НОВОБРАЧНЫМИ

Когда я слез с чемодана и подошел к коляске, то чуть не вскрикнул от удивления, увидев Миловидина и барышню мою, Петронеллу Гологордовскую, которая, завернувшись в салоп, прильнула головою к плечу своего милого друга.

– Узнал ли ты меня, Ванька! – сказал Миловидин, улыбаясь.

– Как не узнать доброго барина!

Между тем Кузьма, усатый лакей, отправившийся на почтовый двор с подорожною, возвратился и объявил ответ станционного смотрителя, что нет лошадей. С этим словом Миловидин выскочил из коляски и побежал опростеть в избу, а я за ним. Смотритель сидел в халате за столом и перевертывал книгу, где записываются подорожные.

– Лошадей! – закричал грозно Миловидин.

– Нет лошадей, все в разгоне, – отвечал смотритель хладнокровно.

– Если ты мне не дашь сию минуту лошадей, – сказал Миловидин, – то я запрягу тебя самого в коляску, с твоими чадами и домочадцами: слышишь ли?

– Шутить изволите, – возразил с прежним хладнокровием смотритель. – Не угодно ли отдохнуть немного и откусать моего кофе, а между тем лошади придут домой.

– Черт тебя побери с твоим кофе! Мне надобно лошадей! – воскликнул с гневом Миловидин.

– Нет лошадей! – отвечал снова смотритель.

– Ты лжешь, по этой дороге никто не ездит, и я никого не встретил, – сказал Миловидин.

– Извольте проверить почтовую книгу.

– Я не хочу напрасно терять времени, и, вместо того чтобы считать страницы, пересчитаю твои ребра, – сказал Миловидин и приступил на шаг ближе к смотрителю.

– Вы напрасно изволите горячиться, – возразил последний, – извольте прочесть на стене почтовые постановления: вы увидите, что за оскорбление почтового смотрителя, пользующегося чином 14-го класса, положен денежный штраф до ста рублей.

– А, если тебе штрафу хочется, – сказал Миловидин, – то я заплачу вдвое и так тебя употчую, что ты в другой раз, верно, не получишь штрафного вознаграждения, в этой жизни. Но, послушай, прежде я хочу поговорить с тобою порядком. Сколько надобно заплатить указных прогонов до первой станции?

– Шестнадцать рублей, – отвечал смотритель.

– Итак, я заплачу тебе вдвое, то есть тридцать два рубля, сверх того дам три рубля тебе, на кофе или на табак: вот тебе тридцать пять рублей; давай лошадей, или, ей-Богу, бить стану!

– Вижу, что с вами делать нечего, – сказал смотритель, – придется дать вам своих собственных лошадей. – Смотритель после этого высунул голову в форточку и закричал ямщикам: – Гей, ребята! запрягайте сивых, да поскорее, по-курьерски.

– Ты ужасный плут! – примолвил Миловидин, получая сдачу.

– Как же быть, ваше благородие, – отвечал смотритель. – Ведь жить надобно как-нибудь.

– Вот в том-то и вся беда, что у нас почти все делается _как-нибудь_, – сказал Миловидин, выходя из избы. Между тем запрягли лошадей – и мы помчались.

Трое суток мы скакали по большой дороге, без всякого особенного приключения. На всякой станции делали нам некоторые затруднения, потому что в подорожной не было прописано: _по казенной надобности_. Но Миловидны угрозами, бранью, криком и деньгами

побеждал закоснелое упрямство станционных смотрителей, которые, по большей части, исполнение своей должности поставляют в том, чтобы скорее отправлять курьеров и задерживать едущих по своей надобности. На четвертые сутки, на самом рассвете, в виду города, мы своротили с большой дороги и, проехав лесом верст пять, остановились в деревне, перед крестьянскою избой. Здесь стоял на квартире приятель Миловидина, поручик Хватомский. Он выбежал из избы, помог Петронелле выйти из коляски и ввел ее под руку в свою квартиру. Тотчас послали за священниками, русским и католическим, которые здесь нарочно дожидались приезда Миловидина. Он показал им позволение вступить в законный брак и согласие католического епископа, или _индульт_, с так называемым _окошком_, то есть пробелом для вписания имен; чрез два часа оба обряда кончились: по-русски обвенчались в церкви, а по-католически – в доме священника. Отдохнув и пообедав у Хватомского, новобрачные в сумерки отправились в город, где находилась квартира Миловидина. Для уничтожения различных толков, он не хотел иначе явиться в эскадрон, как с законною женой; эта предусмотрительность, без сомнения, делает честь его характеру.

Миловидин, прежде нежели отправился за своею невестою, убрал по возможности свою квартиру, для принятия жены. Он занимал две комнаты в доме богатого жида. Но как чистота не составляет принадлежности богатства между жидами, то Миловидин отделал квартиру на свой счет. Стены обклеил цветною бумагой, полы обили клеенкою; в задней комнате сделали из досок альков для спальни и эту перегородку завесили коврами. Окна украсили занавесами розового цвета. Миловидин у одной своей приятельницы, помещицы, жившей по определению консистории в разлуке с мужем, взял на подержание фортепиано, дюжину стульев, пару ломберных столиков и зеркало. Несколько пар пистолетов, турецких сабель и кинжалов, персидский прибор на лошадь и два ружья висели в гостиной вместо картин. Пирамида из чубуков с огромными янтарями и золотошвейными колпаками служила также к украшению комнаты. Словом, смотря по месту и обстоятельствам, комнаты Миловидина убраны были превосходно, и едва ли не с большим блеском и опрятностью, как у самого г-на Гологордовского. Сверх того, на фортепиано лежала большая кипа нот, выписанных нарочно из Петербурга, а в спальне, на полке, уставлено было несколько дюжин новых французских романов, с картинками. Миловидин не забыл ничего, чтобы сделать приятным свое жилище.

Петронелла ахнула от удивления, вошедши первый раз в квартиру. Осмотревшись, она бросилась на шею своему мужу и заплакала от радости и благодарности за такое внимание. На другой день Миловидин с женою своею посетил полковника, казначея, квартирмистра и еще пару женатых офицеров, чтоб завести знакомство с их женами. В продолжение целой недели он беспрестанно разъезжал со своею женою по окрестностям с визитами и везде получал поздравления насчет красоты и любезности прелестной Петронеллы. Вскоре начали съезжаться к нему гости, со всех сторон. Миловидин любил жить весело: пошли обеды, вечеринки, ужины, которые обыкновенно кончались попойкою и картами. Время летело, а с ним и деньги. Сперва закупали вино и припасы на наличные деньги, после того брали в долг, а наконец, когда жида увидели, что долгов не платят, перестали верить; надлежало отдавать в заклад вещи. Родители Петронеллы не хотели даже принимать от нее писем и отсылали их обратно нераспечатанными. Дядя Миловидина также рассердился на него за то, что он обманул его, сказав, что женится на богатой невесте, и за то, что женился без позволения родителей; он отказался помогать ему деньгами. Миловидин пустился в игру по расчету: он связался с игроками, которые обманули его, продали и выманили последние деньги. Обстоятельства были критические. В шесть месяцев после свадьбы все, что можно было продать, было продано; заложить уж было нечего, играть не на что, занять не у кого. Миловидин решился на последнее средство: ехать с женою своею к дяде, в надежде, что она своими прелестьями смягчит упрямого старика. Получив отпуск, он продал последнюю свою верховую

лошадь; на эти деньги выкупил из заклада свою коляску и, собрав свое последнее имущество, белье, седла и оружие, заложил все жиду-хозяину, чтобы достать деньги на дорогу. Г-жа Миловидина не хотела ни за что расстаться со своими нарядами и Машею. Надлежало ей повиноваться; итак, обвязав коляску картонами, взяв с собою Машу, лакея и повара, господа мои отправились в Москву. Меня оставили на квартире при вещах, находившихся в закладе, и жиду приказано было кормить меня, на счет господ.

ГЛАВА VII

БОГАТЫЙ ЖИД. ИСТОЧНИКИ ЕГО БОГАТСТВА

Через месяц после отъезда Миловидиных полк выступил на другие квартиры, а я остался у жида, при вещах, потому что никто из офицеров не хотел или не мог выкупить их и взять с собою запечатанных сундуков. Оставшись один, без всякого надзора и покровительства, я, по естественному порядку вещей, сделался слугою того, кто кормил меня, то есть жида Мовши, хозяина дома. Мовша почитался одним из богатейших жителей города. Жена его, Рифка, толстая женщина, низкого роста, вся осыпанная жемчугом и коростою, торговала в лавке шелковыми тканями, сахаром, кофе и сухими плодами, или бакалиями. Мовша производил торг в доме виноградными винами, портером и вообще всеми столовыми припасами, пряными кореньями, голландскими сельдями, сырами и всеми принадлежностями гастрономии. Но как жид не может жить без того, чтоб не шинковать водкою, то, сверх всего этого торга, в его доме был шинок, для мужиков и людей простого звания. Мелочная продажа водки есть первая необходимость жида в польских провинциях. Этим средством он достает, за десятую часть настоящей цены, все съестные припасы и отапливает дом почти даром. Кроме того, он посредством водки выведывает у крестьян и служителей все тайны, все нужды, все связи и отношения их господ, что делает жидов настоящими владельцами помещиков и подчиняет жидовскому влиянию все дела и все обстоятельства, в которых являются на сцену металл и ассигнации. В самом деле, помещики наслаждаются одним только звуком металлов и видом ассигнаций, а в существе своем они принадлежат жидам. В письменном столике Мовши находились три огромные долговые книги, или регистра. В первую вносились долги прекрасного пола, по части Рифкиной торговли; во вторую записываемы были долги помещиков или вообще мужчин, так называемых панов, за напитки и съестные припасы; третья книга вмещала в себе долги несчастных поселян, которые, приезжая в город продавать произведения земли, по нужде оставляли у себя деньги только на уплату господских повинностей, а остальное пропивали и, сверх того, входили в долги. Чтобы дать читателю понятие, каким образом жида обходятся с поселянами, я расскажу о расчете Мовши с одним богатым крестьянином, чему я был очевидным свидетелем.

Этот крестьянин приехал в город накануне торгового дня, с двумя возами, нагруженными рожью и пшеницею, и привел с собою, на продажу, двух коров. Он остановился ночевать у Мовши. Хитрый жид, видя, что поселянин собирается ужинать с тремя своими товарищами натрезво, попотчевал его самую лучшую и самую крепкую водкой. Крестьянину чрезвычайно понравился этот напиток, и жид в другой раз попотчевал его даром. Когда в голове крестьянина зашумело, он велел подать себе кварту ² этой водки за деньги. Жид только и ждал этого: он знал нрав своего гостя и его тороватость, а потому, лишь только крестьянин запил, он послал уведомить об этом других его товарищей и пригласил несколько записных городских пьяниц, которые умеют особенным образом вкрадываться в доверенность приезжих. По мере затмения рассудка своих гостей жид прибавлял воды в водку, и хотя собеседники это чувствовали и изъявляли свое неудовольствие грубою бранью, жид терпеливо сносил грубости и продолжал свою операцию до тех пор, пока большая часть из посетителей уснула на месте, а другие кое-как выползли на улицу. На другой день, когда крестьянин, мучимый головою болью, возвращался в комнату из-под навеса, где стояли его лошади и коровы, жид потребовал его к расчету за долги, накопившиеся в продолжение нескольких месяцев. Крестьянин усиленно просил отложить расчет до другого времени;

² Польская мера. Гарнец имеет четыре кварталы; кварта — две полукварты или четыре кватерки, то есть осьмушки.

но жид, как искусный психолог, зная правило: *in corpore sano mens sana*, не соглашался на отсрочку и хотел воспользоваться затмением рассудка своего должника от винных паров, после вчерашней невозддержности, и его дурным расположением духа. Жид вынес свою долговую книгу, писанную по-еврейски, взял кусок мелу, посадил мужика за стол противу себя и, перевертывая листы в книге, начал расчет:

– Помнишь ли, – сказал жид, – как ты жил здесь трое суток с подводами, перед летним Николой?

– Как не помнить! – отвечал мужик.

– В первый день ты взял поутру полкварти водки: не правда ли?

– Правда.

– Ну, вот я запишу, – промолвил жид и провел на столе черточку мелом. – После, когда пришел твой зять, с Никитой, ты взял еще квартиру, – и с сим словом жид провел две черточки. – В обед ты опять взял две квартиры, – жид опять провел две черточки, невзирая на разность меры. – После обеда... – но крестьянин, который беспрестанно почесывал голову и потирал лоб, прервал слова жида:

– _Пане арендарю_ (так литовские мужики величают жидов), – мне, право, не в силу: вели дать водки, голова болит смертельно!

Жиду этого-то и надобно было:

– Гей, Сорка, Рифка! – воскликнул еврей. – Попотчуйте водкою _господаря_ (так жида взаимно величают крестьян, когда хотят их обмануть).

Крестьянин выпил огромный стакан, морщась и содрогаясь, и дело пошло другим порядком.

– После обеда, – продолжал жид, – ты взял полкварти.

– Взял.

Жид провел черточку:

– А когда вошел Иван, ты опять взял полкварти.

– Нет, не брал, а взял Иван, – отвечал мужик.

– Хорошо, ты не брал, – промолвил жид, а между тем провел снова черточку. – Вечером ты брал полкварти?

– Брал.

Жид провел черточку:

– А поутру брал?

– Нет, не брал, а взял Иван, – отвечал мужик.

– Не брал? – сказал жид и провел опять черту. – В обед, на другой день, ты брал полкварти.

– Нет, только квартиру, – отвечал мужик.

– Хорошо, пусть будет квартира, – возразил жид и провел черточку, означающую меру полкварти, которая содержит в себе четыре квартиры. Таким образом продолжался расчет, во время которого дочери Мовши, Рифка и Сорка, беспрестанно потчевали мужика водкою, а жид ставил черты, когда крестьянин сознавался, что он брал в долг водку, и когда говорил, что не брал, не различая меры, когда она была меньше полкварти, и прибавляя черточки, когда мера была более. Наконец, когда у крестьянина закружилось в голове и в глазах потемнело, жид вынул из-за пазухи кусок мелу, с вырезкою, наподобие двух ножек, и этим двойным инструментом принялся ставить, вместо одной, по две черты одним разом. Когда стол был весь исписан, жид призвал в свидетели расчета нескольких соседей крестьянина и они, сосчитав черточки, превратили их в деньги: несчастный должен был отдать жиду лучшую свою корову и всю свою пшеницу, хотя в самом деле он едва был должен десятую часть того, что заплатил.

Почти таким же образом обходился Мовша и с помещиками, только искуснее и несколько понежнее. Однако ж двойной мелок, примесь в винах и начеты были так же употребляемы при расчетах с дворянами, как и с крестьянами. Жид, зная, что польские паны и русские офицеры не любят заводить счетных книг и чрезвычайно скучают продолжительными расчетами, выбирал благоприятное время для своих видов и тогда именно приступал к должникам со своими долговыми книгами, когда они находились в весьма веселом или в слишком печальном расположении духа. Жена Мовши, Рифка, которая также отпускала в долг товары и, вместо процентов, получала от помещиц, в подарок, целые кади с маслом и целые стаи домашних птиц, выбирала время для расчета с должницами своими, когда они имели крайнюю необходимость в кредит, а именно перед балами, дворянскими выборами и свадьбами. В торговле этого рода нельзя было обманывать теми же средствами, как при продаже вин и водок; но хитрая Рифка, пользуясь нуждою и тщеславием своих покупателей, обмеривала их, обвешивала, брала за все двойную цену и, сверх того, выманивала подарки, под предлогом, что она сама берет товары в долг и обязана платить проценты. Кроме того, торговля ее приносила и ту пользу, что, посредством жен, Мовша имел влияние на мужчин, то есть на денежные спекуляции помещиков. Они даже были рады, что за шелковые ткани и кружева, за вино, ром, портер, сахар и кофе могли платить волами, пшеницею, льном, пенькою и другими сельскими произведениями, потому что жид при этом случае закупал остальной их запас на наличные деньги, по цене, жидами же установленной, и обыкновенно в половину противу цен, объявляемых на биржах и в портах. Помещики в тех странах вообще не имеют никакого понятия о торговых делах и получают коммерческие известия только чрез жидов. В целой губернии едва несколько человек выписывают газеты и то единственно для тяжёбных объявлений и для запаса к нелепым толкам о политике.

Вся эта жидовская торговля, основанная на обмане, называлась «позволенною», а потому жида занимались ею явно, приобретая между тем гораздо большие выгоды скрытым образом – средствами, запрещаемыми законами и совестью. Мовша полюбил меня за мою скромность и услужливость; он почитал меня своим собственным слугою, потому что Миловидин, взяв отставку и поселившись в Москве, отрекся от вещей своих и от меня, не имея чем выкупить залога. Мовша употреблял меня для самых секретных поручений и сулил мне золотые горы, если я решусь сделаться жидом. Хотя я не имел никакого понятия о вере, будучи вскормлен, как зверенок, но одно название жида ужасало меня, и я, не отказываясь вовсе, откладывал обрезание под различными предлогами, а между тем намеревался бежать от этой беды. Однажды в доме Мовши остановились два поверенные богатых господ, возвращавшиеся из Риги, с деньгами, полученными за проданный ими хлеб и пеньку. Эти гг. поверенные, как видно, были в тесной связи с Мовшею: они отдали ему все господское золото, которое Мовша обещал возвратить на другой день, счетом, и даже одному из них, человеку неопытному в этих делах, дал в залог серебряную монету, на ту же самую сумму. На ночь Мовша заперся наверху, в своей каморке, призвал туда меня и сына своего, Юделя, и объявил, что мы должны целую ночь работать. Он высыпал из мешков, на стол, большую грудку червонцев, заставил Юделя выбирать из кучи полновесные и большие, для меня разостлал на полу сукно, посыпал его каким-то черным порошком и велел мне перетирать на сукне отобранные червонцы, прижимая их крепко к сукну. Сам Мовша сел за стол, на котором стояли две восковые свечи и увеличительное стекло на ножках. Юдель подавал ему червонцы, а он, смотря на них через стекло, обрезывал их кривыми, тонкими ножницами. Не знаю, сколько было червонцев в наших руках, но к рассвету я переменил три куса сукна, а Мовша собрал целую чайную чашку золотых обрезков. Поверенные получили обратно счетом свои червонцы, не заботясь о весе; а в вознаграждение их снисходительности дано им по несколько червонцев, и, сверх того, жид не взял с них ничего за корм лошадей, за пищу и вино и дал им несколько бутылок вина на дорогу. Вечером Мовша выжег сукно и перетопил обрезки в

печи, нарочно устроенной для того в его каморке. Наша ночная работа доставила ему кусок золота величиною с кулак. Мы занимались этим высасыванием золота из червонцев всегда, когда только останавливались в доме знакомые поверенные и комиссионеры богатых панов или когда купцы или господа поверяли Мовше золото для каких-нибудь оборотов.

Однажды вечером Мовша велел мне собираться в дорогу, к другому утру. Рифка уложила в небольшой сундук пару нового Мовшина платья: черный полуселковый зипун, застегивающийся от воротника до пояса крючками, черную шелковую мантию, с большими кистями наперед, пару серых чулок, новые башмаки и круглую, с большими полями, шляпу; белья она положила столько штук, сколько недель предполагалось быть в отсутствии, именно же две штуки. Съестными припасами наполнила особую коробку: они состояли из одной бутылки водки _шабашовки_, так называемой по ее доброте и по тому, что ее пьют только в шабаш, когда воспевают веселый _маиофис_³; из двух кошерных сыров, домашней работы, двух больших редек, двадцати четырех луковиц, двенадцати селедок, двух булок, одной вязки жидовских кренделей или баранок и небольшого куска жареной козлятины. Этот запас определен был для пяти человек на две недели. С Мовшею ехали: жид Фурман, зять его Иосель, племянник Хацкель и я, несчастный. Сундук и коробка отданы были мне на руки, и когда я заметил Рифке, что этого запаса будет мало, она рассердилась и крикнула на меня:

– Молчи, гой ⁴! Вы все только и думаете, чтоб есть и пить, а не думаете, что каздая кроха стоит денег: надобно деньги берец, теперь худыя времена!

– Да у вас денег и без того довольно! – сказал я сквозь зубы, нагнувшись к коробке. Вдруг она взбесилась.

– Как ты смеешь говорить, что у нас денег много? Герш-ту ⁵ Жиды, особенно жидовки, в Польше употребляют это герш-ту в каждом случае, когда сердиты или недовольны: оно отвечает русскому: вот те на, или: видишь ли, каков!! Разве ты видал и считал наси деньги? Герш-ту! Ах ты хомут! Ах ты дуга ⁶! Как ты смеешь говорить, что у нас есть деньги! – жидовка тряслась от злобы, грозила мне кулаками и, вероятно, ударила бы, если б я не приосанился и не вскрикнул в свою очередь:

– За что ты рассердилась, пани арендарша! Если ты меня тронешь, то я все брошу и уйду!

На крик наш прибежал Мовша и, узнав о причине брани, прикрикнул на жену и вывел ее в другую комнату, где, покричав вместе, они успокоились, а Рифка, возвратившись, погладила меня по голове и дала большой крендель, примолвив:

– Не сердись, Ванька! я для тебя полозу в коробку кусок копценого гуся, а если наси зиды захотят лакомиться, пускай покупают на свои деньги.

У нас остановился в квартире один из соседних помещиков. Вечером, накануне отъезда Мовши, помещик приказал подать пуншу для себя и для хозяина, велел ему сесть и начал с ним беседовать. Вообще большая часть мелких помещиков почитают жидов сведущими во всех делах, даже в политике, и, вместо того чтобы подписываться на газеты, деньги, которые надлежало бы заплатить за них, они употребляют на пунш и вино, а время, которое должно б было терять на чтение, проводят в разговорах с жидами о всемирных происшествиях. Из комнаты помещика дверь была отворена в конуру, где, при свете ночника, я должен был щипать перья для жидовских перин, потому только, чтоб не оставаться ни на минуту в без-

³ Польские жиды не имеют слов для песен. Они напевают только мелодию, и то – подгулявши в шабаш. Веселый напев называется маиофис.

⁴ Так жиды называют христиан; это синоним турецкого слова гиаур, и значит: неверный.

⁵ Это, исковерканная в смысле и в произношении, немецкая фраза: horst du? слышишь ли ты?

⁶ Так жиды бранят слуг и мужиков.

действию и, по жидовской системе, не есть даром хлеба. Каждое слово было слышно; пока говорили о торговле, хозяйстве, войне и о губернаторе, я не обращал внимания на разговор; но когда коснулись до путешествия Мовши, я стал прислушиваться, любопытствуя знать, куда и зачем мы поедем.

– Странно, ребе ⁷ Мовша, – сказал помещик, – что ты, производя такую обширную торговлю, вздумал взять в арендное содержание корчмы, в именье, отстоящем на 20 миль от твоего местопребывания. Я знаю, что ты, сверх того, гонишь там деготь и выделяешь поташ: но все это мог бы ты иметь, так сказать, под боком. Я, и каждый помещик, охотно вступил бы с тобою в дела.

– Особенности обстоятельства, ясневельможный пане, – отвечал Мовша, – заставляют меня содержать аренду так далеко от дому. В той стороне живет вся родня моей зены, и я, из _благотворительности_, разместил по корчмам бедную родню. Потас и деготь там удобнее сбывать с рук, потому что это именье лезит на самой границе. От всего этого я не получаю никакой прибыли и езду туда два раза в год затем только, чтобы наблюдать за порядком, делать расчеты и вы-ручать свои собственные деньги, на уплату аренды: прибыль получают родственники моей зены, которым я _благодетельствую_.

– Похвально, весьма похвально, ребе Мовша, – сказал помещик. – Этот пример достоин подражания, и между нами, и по справедливости сказать, на жидов слишком много клепят напраслины, тогда, как один этот пример _бескорыстной любви к родне_ должен расположить в их пользу.

Меня позвали к ужину, и я не слышал продолжения разговора. Читатель вскоре увидит, что значит жидовская _бескорыстная любовь_ к родственникам и _благотворительность_, без прибыли_!

На другой день в длинную бричку, покрытую парусиною, запачканную дегтем и грязью, запрягли трех тощих лошадей в сбрую из лык, веревок и отрывков старых барских шор, навалили в бричку перин и подушек, поставили сундуки и ящики и отправились в путь. Мовша, Иосель и Хацкель, в засаленных халатах, в колпаках, уселись в перинах, в тесной куче, почти один на другом, а я поместился в ногах, на сундуке с платьем. Как пора была осенняя, то мне дали какую-то старую фризую шинель, купленную на рынке, и шапку, забытую в шинке одним хмельным лакеем; эта шапка чрезвычайно меня беспокоила, насосываясь на глаза, при каждом потрясении брички.

Не стану описывать нашего путешествия, которое было вовсе незанимательно и продолжалось два дня с половиною. На третий день мы своротили с большой дороги и к полудню приехали в малую корчму, находящуюся в некотором отдалении от бедной деревушки, состоящей из десяти хижин. Хозяин корчмы обрадовался, как казалось, нашему приезду и тотчас выслал трех мужиков с письмами неизвестно куда. К ночи начали съезжаться жида: одни верхом без седла, другие в тележках, и пока жидовка стряпала ужин, их набралось около двадцати человек. По обыкновению, к вечеру собрались в корчму и мужики, курить табак, пить водку на кредит, лакомиться сушеною рыбой, таранью, и беседовать, при свете лучины, о своем господине и приказчике. Жида не обращали внимания на крестьян, заперлись в другой комнате и с шумом разговаривали долго между собою, говоря, по большей части, все вдруг. Наконец, когда бурное совещание кончилось, арендатор выгнал, без исключений, мужиков из корчмы, говоря, что для его гостей надобно стлать постели. Неугомонным мужикам, которые не хотели оставить корчмы, он дал водки и табаку надом, и они с песнями пустились в селение. Около полуночи приехал верхом какой-то господин; он оставался с полчаса наедине с Мовшею, и я слышал у дверей, как они торговались; наконец ударили по рукам, и Мовша отсчитал господину несколько десятков рублевиков и червонцев.

⁷ Ребе значит то же, что господин, monsieur.

Господин, выпив рюмку водки за здоровье _честной_ компании, закурил трубку, сел на коня и поскакал к лесу. Жиды поужинали и тоже разъехались. Мовша и его спутники легли, не раздеваясь, отдохнуть на перинах, а я прилег на соломе. За несколько времени до рассвета арендатор разбудил нас, и мы на двух тележках, в одну лошадь, поехали также в лес, по малой дорожке. Я правил тележкой, в которой сидели Мовша и Иосель, а хозяин корчмы с Хацкелем пустились вперед в другой телеге. Мы долго ехали лесом, пока начало светать, а наконец услышали скрип колес и понудительные клики извозчиков. Мовша обрадовался и велел мне погонять. Вскоре мы встретили обоз, состоявший из пятидесяти телег, нагруженных бочками с дегтем и поташем. При обозе находился один только жид; извозчики были мужики. Поговорив с этим жидом, Мовша велел мне повернуть лошадь и следовать за обозом. Проехав обратным путем около двух верст, мы на повороте встретили отряд пограничных казаков, с которыми был тот самый господин, которого я видел в корчме: он был не военный и одет весьма просто. Завидев нас, он оставил команду и с казачьим офицером прискакал к обозу.

– Что везете? – спросил офицер.

– Потас и деготь, – отвечал жид, бывший при обозе.

– Ты хозяин, что ли? – сказал казачий офицер.

– Нет-с; вот он, ясневельможный, васе-высокородие! – отвечал жид, указывая на Мовшу, который в это время слез с тележки и, стоя без шапки, низко кланялся.

– Вы, бездельники, верно, везете контрабанду! – закричал господин в штатском платье.

– Как можно, сударь, что бы цветные люди торговали контрабандою? – сказал Мовша, изгибаясь. – Избави нас Бог от этого! Мы, бедные зидки, промысляем дегтем и потасом. Извольте освидетельствовать.

Господин слез с лошади, отвязал железный прут от седла, вынул молоток из кожаного мешка и начал стучать в бочки, прислушиваться к звуку ударов, пробовать прутom внутри бочек, наконец перешарил мужиков, телеги и как бы в досаде воскликнул:

– Нечего делать! правы – поезжайте, к черту! – Во время обыска казачий офицер остался на лошади и прилежно наблюдал за действиями господина в штатском платье; но видя, что все исправно, он оставил нас в покое и продолжал путь со своею командой.

Мовша не мог удержать своей радости, и, когда казаки скрылись из виду, он защелкал пальцами и запел веселую ноту, приговаривая часто: "Атрапирт, атрапирт!" ⁸

Прибыв благополучно в корчму, бочки свалили в сарае, а мужиков отпустили, заплатив им отчасти деньгами, но более водкою, табаком и сельдями. Пообедав и выспавшись, Мовша заперся в сарае с Иоселем, Хацкелем и со мною. Я весьма удивился, когда он начал работать возле бочек. В середине был деготь или поташ, а с краев оба дна отвинчивались, и там находились разные драгоценные товары, шелковые материи, полотна, батисты, кружева, галантерейные вещи и т. п. Принесли жаровню, штемпели, черную и красную краски; растопили олово, и, пока я раздувал уголья, Мовша с товарищами начал клеймить и пломбировать товары, точно так как я впоследствии видал в таможнях. Ночью пришло несколько больших жидовских фур, на которые нагрузили товары, уложив в кипы и ящики, и отправили домой с Иоселем и Хацкелем; я с Мовшею поехали обратно в той же самой бричке, в которой мы прибыли в корчму. Мовша, как выше упомянуто, предполагал быть в отсутствии две недели и пробыл только одну, потому что товары его прибыли из-за границы прежде срока. В доме были радость и веселье, и Рифка, к другому дню, который был шабаш, испекла пирогов с медом и маком и кугель ⁹, изжарила гуся, сварила локшину ¹⁰ и цимес ¹¹ и даже попотчевала меня кошерным виноградным вином.

⁸ То есть уловили, увернулись.

⁹ Жареное тесто в гусином жире.

Мовша объявил своим факторам и верникам, что он одно радостное происшествие, случившееся в делах его, хочет ознаменовать добрым делом. Давая деньги под заклад, он брал обыкновенно по две копейки с рубля в неделю; теперь, в продолжение целого месяца, он вознамерился брать по три денежки с бедных и нуждающихся. Факторы объявили об этом благодеении Мовши всем игрокам, мотам и пьяницам, а Мовша должен был вытерпеть упреки жены и даже брань ее за эту излишнюю доброту сердца, которая, по мнению Рифки, могла привести их в разорение.

¹⁰ Лапша.

¹¹ Морковь с медом, жиром и пряными кореньями.

ГЛАВА VIII

ВСТРЕЧА ЧИНОВНИКА, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ С МЕСТА, С ЧИНОВНИКОМ, ЕДУЩИМ НА МЕСТО Я ОСТАВЛЯЮ ЖИДА

Настала зима, и в доме Мовши прибавилось деятельности, а мне работы. Обозы и проезжие часто останавливались у Мовши, и я приставлен был к гостинным комнатам, к тем самым, которые занимал прежде Миловидны. Кроме того, что мне надлежало топить печи, носить воду и выметать комнаты, жид велел мне подслушивать у дверей, что говорят между собою приезжие господа, особенно чиновники. Мне поручено было подслушивать, не ищут ли кого, не ловят ли чего, и обращать внимание, не будут ли произнесены слова: «фальшивая монета» и «контрабанда». Хотя я не понимал настоящего значения сих слов, но, чувствуя, что тут кроется какое-нибудь жидовское плутовство, не имел охоты верно служить жидам, если бы иногда не соблазняла меня приманка награды и голод не принуждал быть орудием жидовской политики. Но жизнь эта мне до того наскучила, что я решился бежать при первом случае, куда глаза глядят. Одно только меня удерживало: недостаток зимней одежды.

Однажды, когда начинало смеркаться, несколько экипажей остановилось на рынке, противу дома Мовши. Он тотчас выбежал на улицу и, подошед к четвероместной карете, на полозьях, с низким поклоном предложил сидящим в карете господам квартиру, выхваляя все удобства своего дома, дешевизну фуража и всех припасов, рекомендуя притом себя, как человека известного своею честностью и услужливостью. Красивая наружность дома Мовшина, в сравнении с другими, кажется, была убедительнее слов хозяина, и экипажи, к большой радости целого жидовского семейства, подъехали к крыльцу.

Рифка выбежала с дочерьми встречать господ, а меня с служанкою вытолкали в гостинные комнаты стереть пыль, вымести наскоро полы и очистить со стола следы угощения, которое давал Мовша магистратским чиновникам того же утра, имея какое-то дело о «подмене заложенных вещей». Едва мы успели управиться, как путешественники вошли в комнату. Я остановился у дверей, чтоб посмотреть на них. Сперва вошел небольшой, сухощавый, бледный мужчина, закутанный в шубу. Глаза его сверкали, как у лисицы; он одним взглядом осмотрелся кругом и, перешед в другую комнату, тотчас начал раздеваться. За ним следовали два мальчика и две девочки, от 10 до 14 лет, окутанные и обвязанные как улитки. Сама госпожа, также худощавая, с злобными взглядами, медленно двигалась, как жаба. За нею шел причет служанок, нянюшек и лакеев, с узелками и коробочками. Первым приветствием, которое госпожа сделала мне и служанке дома, были слова: "Пошли вон отсюда, твари!" Мы, отвесив по поклону за эту вежливость, вышли и, за дверьми, отплатили ей тою же монетой.

В общей избе узнал я, что путешественники ехали на наемных лошадях, в Москву, из губернии, где этот господин, по фамилии Скотинко, был прокурором. Подали свечи, поставили самовар, и повар г-на Скотинки начал варить ужин, а сам господин потребовал к себе Мовшу, для разговоров и расспросов о новостях.

Часа через два, когда уже было темно, подъехала к нашему крыльцу кибитка, обтянутая рогожею и запряженная парой лошадей. Хозяева не беспокоились встречать гостя. Вошел господин, высокого роста, толстый и румяный, и, узнав, что лучшие комнаты уже заняты, поместился в небольшой каморке, где жил Юдель, сын хозяина. Весь багаж этого господина состоял из небольшого кожаного чемодана и кожаной подушки, которые внес под мышкою лакей его, одетый в нагольный тулуп. Изношенная шуба самого господина обна-

руживала тайну кожаного чемодана. Рифка попотчевала водкою лакея и узнала, что господин его называется Плутягович и едет из Петербурга занять место прокурора, именно в том городе, откуда выехал г. Скотинко. Магистратский писец, который в это время стоял возле буфета и попивал сладкую водку, лукаво улыбнулся и сказал: "Вот встреча коршунов!"

Г. Плутягович, узнав, что в доме находится его предместник, тотчас пошел к нему познакомиться. Они, видно, пришли по нраву один другому, потому что Скотинко пригласил Плутяговича к ужину, и они целый вечер провели в разговорах.

Между тем лакей Плутяговича, поужинав куском черствого хлеба и квасом, закурил трубку и поместился возле очага, при котором слуги г-на Скотинки очищали из кастрюль остатки вкусного барского ужина, шутили между собою и гордо поглядывали на лакея Плутяговича. Когда же они узнали, что Плутягович едет занять место их господина, то смягчились и попотчевали бедняка водкою.

– Как тебя зовут, земляк? – спросил у него камердинер Скотинки.

– Фарафонтом, – отвечал слуга Плутяговича.

– Смотри же, Фарафонт, – примолвил камердинер, – держи ухо востро, а тебе будет вечная масленица. Не якшайся с просителями и не впускай никого даром в двери, а побирай за вход к барину, как за вход в собачью комедию. Чего их жалеть!

– Я рад бы брать, да станут ли давать? – возразил Фарафонт.

– Дадут, как прижмешь, – отвечал камердинер. – Научись твердо отвечать: дома нет, занят, нездоров, не принимает, изволит почивать! А когда спросят, когда можно прийти, нельзя ли подождать, нельзя ли доложить – скажи: все на свете можно, только осторожно.

Тут все служители Скотинки громко захохотали. Фарафонт сказал:

– Ну, а как станут приходить господа, которых барин велит пускать к себе, без доклада? Уж с них-то взятки гладки.

– Пустое, – отвечал камердинер, – с них взятки сладки. Кланяйся, отпирай двери, провожай со свечой и поздравляй с праздником. Ох, брат Фарафонт, привольное житье у барина прокурора, а у губернатора – рай, всего через край! Поплакали мы, выезжая из города. Неведомо, что будет, а было хорошо. А у вас, в Петербурге, каково-то житье лакеям чиновников?

– Каково место, брат, – отвечал Фарафонт. – Есть наша братья, что щеголяют; есть, что кулаком слезы утирают. Мой барин был только столоначальником – неважная спица в колеснице. Он и сам рад был сорвать копейку с правого и с виноватого, да не всегда удавалось. Только, бывало, и получаешь на водку, как барин пошлет с копиею к просителю или если есть какое дело на дому, в работе, и проситель завернет к нам потолковать. Да все это пустяки: ведь от старших остаются малые крохи.

– Ну вот теперь твой барин будет сам большой, – примолвил камердинер.

– Ох, Фарафонтушка, Фарафонтушка, дорого бы я дал, чтоб поменяться местом с тобою!.. Но вот барин кличет, прощай.

Я во все это время грелся у огня и, слушая эти разговоры, завидовал участи других слуг. Рассудив, что жид не имеет надо мною никакого права, я решился просить одного из проживающих господ взять меня с собою.

Плутягович, возвратясь в свою каморку, потребовал к себе Мовшу, который, узнав, что он занимает важное место в губернии, уже переменил с ним обхождение, беспрестанно кланялся и извинялся перед новым прокурором, что у него нет лучшей для него комнаты, и предлагал ему безденежно все, что угодно и что есть в доме. Плутягович сел на свою постель, закурил большую деревянную трубку и начал расспрашивать жида. Я был за перегородкою и, смотря в щель, слушал весь их разговор.

– Послушай, Мовша, говори со мною откровенно; а я, может быть, пригожусь тебе.

Жид снял ермолку и поклонился. Плутягович продолжал:

– Вот я еду занять место г<осподи>на Скотинки, который, как он говорит, отставлен за напраслину, по интригам злонамеренных людей, за неумытное, строгое исполнение своей должности.

Жид лукаво улыбнулся и кивнул головою. Плутягович продолжал:

– Г<осподин> Скотинко настрашал меня, что место преплохое, что нет никаких доходов, кроме жалованья...

Тут жид прервал речь г-на Плутяговича и громко воскликнул:

– Герш-ту! залованья! О, вей мир! Плутягович продолжал:

– Г<осподин> Скотинко говорит, что он прожил на своем месте, истратил все, что имел отцовского и жениного, и с остатками расстроенного состояния бежит, унося с собою одно уважение честных людей и спокойствие совести.

При сих словах жид громко захохотал и так долго смеялся, взявшись за бока, что Плутягович должен был унимать его.

– Герш-ту! – сказал жид. – Г<осподин> Скотинко говорит о совести! А где он с нею встретился: не на дороге ли? После этого надобно озидать, что волки станут стерег овец, зидки пойдут спасаться в монастырь, а помещики запретят музыкам напиваться водкою. Я вам скажу, сударь, васе благородие, что я знал еще г-ну Скотинку, когда отец его был козевником, сыромятником, а он – писарискою, бегал босиком по улицам и крал у зидков баранки и крендели. Он из месцан того города, где я родился. Теперь г<осподин> Скотинко богат, как сам цорт. У него есть и движимое и недвижимое имение, и золото и серебро, а денег такая куца, что он, верно, их и сосчитать не умеет. Он и в цинах и в орденах! О вей, о вей! Г<осподин> Скотинко так насосался на своем месте, что ни одна еще приказная пиявица не была так жирна! – Тут жид опомнился, что говорит с кандидатом в пиявицы, и примолвил: – Извините, сударь, васе высокоблагородие, но такого мастера, как Скотинко, не бывало у нас, и его совесть как невод: чистая водица проходит чрез него, а рыбки вязнут. Место его – рудник с готовыми цервонцами. Не верьте ему ни слова: г<осподин> Скотинко и тогда лжет, когда говорит правду, то есть он и правду говорит для обмана. Еще раз скажу вам: Скотинко был гол, как сокол, и по разным губерниям насоветничал и папрокурорил себе такое богатство, что хотя похоз с виду на сушеную ясцерицу, но пушист, как сибирский зверь.

– Зачем же он так скрывается передо мною? – спросил Плутягович.

– Он хоцет теперь слыть цестным, по обычаю всех назив-шихся взяточников... извините... господ... – отвечал жид.

– Жаль, – сказал Плутягович, – мне бы хотелось поучиться кое-чему, то есть службе – понимаешь?

– Как не понимать, – возразил Мовша. – Но для этого не надобно учителей. Как приедете в город, возьмите к себе в факторы зидка нашего, Ицку, который был в этой зе должнoсти у г<осподи>на Скотинки: он вам во всем помозет, станет отыскивать просителей, уговариваться с уездными циновниками и брать для вас деньги взаймы. Разумеется, без векселя и росписки. Я вам дам письма к моим родственникам и к Ицке: полозитесь во всем на них, они не изменят вам, – только помогайте в наших зидовских делишках.

– Изволь, – сказал Плутягович, – я буду ваш; приготовь все к завтраму, а пока – прощай.

Мовша вышел, а за ним и я вылез из-за перегородки.

На другой день г. Плутягович выехал весьма рано, а Скотинко остался, по причине нездоровья. Один торопился, чтоб не потерять ни одного дня для наживы; другому уже не к чему было поспешать: он достиг своей цели.

Дети г-на Скотинки, мальчики, стали играть под навесом, и как я привык к забавам господских детей в доме Гологордовского, то на досуге вмешался в их игру, помог им запрячь в салазки козла, устроил качели из вожжей и весело переносил толчки и неприятность игры в снежки, в которой я один служил целью. Рифка отозвала меня от забавы к работе, но сыновья

г-на Скотинки упросили отца, чтоб он велел мне играть с ними, и жидовка должна была на это согласиться. Хотя я был моложе детей Скотинки, но гораздо их умнее и потому тотчас воспользовался их склонностью ко мне и легко убедил их упросить родителей своих взять меня с собою. После обеда г. Скотинко позвал меня к себе.

– По какому случаю находишься ты в службе у жида? – спросил у меня г. Скотинко. Я рассказал ему историю женитьбы Миловидина и отъезд его в Москву и, упав к ногам его, просил избавить меня от жидов, обещая служить ему верно всю жизнь. Г. Скотинко посмотрел на жену свою, и она произнесла приговор в мою пользу. Скотинко тотчас позвал Мовшу.

– По какому праву держишь ты этого мальчика? – сказал он грозно. Мовша три раза заикнулся, прежде нежели вымолвил первое слово своего ответа.

– Барин его, г. Миловидин, должен мне деньги и оставил в залог весци с этим мальчиком. – Да разве ты смеешь принимать в залог христианских подданных? – возразил Скотинко. – Знаешь ли указ, по коему запрещено евреям иметь в услужении христиан; знаешь ли ты указ противу ростовщиков? Покажи мне тотчас сделку, по которой ты держишь этого мальчика? Где его паспорт?

Жид испугался:

– Герш-ту! – сказал он тихо. Потом, поклонившись в пояс, примолвил:– У меня нет никаких бумаг: я делал сделку на слово.

– И так ты держишь у себя беспаспортных людей, – сказал г. Скотинко. – Гей! бумаги и чернил; мы тотчас с тобою переведаемся. Я подам здесь объявление, а в столице не умедлю подать просьбу. Между тем мальчика я беру с собою, под мою расписку.

– Васе высокоблагородие, – сказал жид, – стоит ли нам ссориться из пустяков. Вам хочется взять мальчика: извольте брать. Я спорить не стану, только дайте мне росписку, чтоб я мог отвечать Миловидину, когда он спросит. А цтобы вы не изволили гневаться, я за целый день постоя и за все, цто вы набрали в доме, не возьму ни копейки, да кроме того полозу в карету полдюзины такого венгерского винца, какого нет на сто миль кругом. Довольны ли вы?

– Хорошо, – сказал Скотинко, – но есть ли у этого мальчика теплая одежда?

– Нет, но я тотчас все исправлю, и к завтрашнему дню все будет готово.

Г. Скотинко выслал нас из комнаты и велел мне приготовляться в дорогу.

– Проклятый разбойник! – воскликнул Мовша, встретив Рифку. – Этот хапун берет нашего Ваньку. – Рифка сильно рассердилась, но Мовша сказал ей что-то по-еврейски, и она успокоилась и даже погладила меня. Мовша повел меня наверх в свою комнату, сел в кресла и сказал: – Ванька! ты малый добрый, и верно, будешь помнить добро, которое мы тебе делали?

– Какое добро? – спросил я.

– Как, разве мы не поили, не кормили, не одевали тебя?

– А разве я не работал с утра до ночи?

– Герш-ту! ведь всякому надобно работать. Но скажи, неузели тебе было худо у нас?

– Не очень хорошо, – отвечал я попросту. – Много дела и мало хлеба.

– Не греси, Ванька! тебе могло быть хузе у другого. Тебя, по крайней мере, не били, а у других господ и работать заставляют, и не кормят, и бьют, и плакать не велят.

– Нечего говорить – битья не было, – сказал я.

– И так ты должен быть нам благодарен: вот тебе целая полтина за службу: и если б тебя кто стал спрашивать об нас, говори, цто ты ницего дурного не видал и не слыхал в доме и цто мы люди бедные, всегда нуждаемся в деньгах.

– А червонцы-то.

– Какие червонцы? Ты с ума сошел, ты никогда не видал у нас червонцев.

– Пусть так! – возразил я, чтоб только отделаться от жида.

– Ты сам видал, как мы любим христиан и помогаем им: даем в долг водку и хлеб музыкам и подаем милостыню нисцим.

– Сухой хлеб, который бросают на корм скотине, если не явится нищий, при людях.

– Ванька, Ванька, не греси! Вот тебе другая _целая_ полтина. Не правда ли, цто мы хоросие люди, милосердые и небогатые? – Я молчал. Мовша положил мне деньги в руку и, поцеловав, примолвил: – Не правда ли, цто ты будесь нас хвалить?

– Буду, буду! – сказал я, побежав вниз к новым моим господам. Жид купил мне поношенный тулуп, шапку и кеньги; Рифка дала на дорогу целую связку баранок, которые отчасти съели, а отчасти роздали собакам сынки г-на Скотинки, по праву своей власти надо мною. Я провел ночь в сладостных мечтаниях о моем странствии. Надежда встретить доброго моего Миловидина радовала меня: я ничего более не желал в жизни. На другой день утром все было готово к отъезду; мне велено поместиться сзади кареты, вместе с камердинером, и мы отправились в путь.

ГЛАВА IX

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА. ПРЕВРАЩЕНИЕ. ТЕТУШКА. МОЕ ВОСПИТАНИЕ

Без всяких приключений прибыли мы в Москву. Квартира была уже нанята и меблирована дворецким г-на Скотинки, посланным несколькими месяцами вперед. У г-на Скотинки было в Москве много знакомых между чиновниками, которые собирались у него с своими женами, раз в неделю, обедать, и два раза на вечер играть в карты. Г. Скотинко, вскоре после своего приезда, принял француза в гувернеры к своим сыновьям и француженку к дочерям. Кроме того, ежедневно ходили в дом учителя, для преподавания им уроков. Я приставлен был в услужение к сыновьям, должен был содержать в чистоте учебную комнату и находиться при уроках, для исполнения разных приказаний учителей и молодых господ. Кроме того, я служил при столе во время обеда и исполнял поручения самой г-жи Скотинки по разным магазинам; также разносил по городу ее записки к приятельницам, ходил за лекарством в аптеку и, кроме того, кормил птиц и собачонок, до которых барыня была охотница. Я был, как говорится, комнатным мальчиком. Меня одевали по-казацки и называли _казачком_. Одаренный от природы счастливою памятью и переимчивостью, я в несколько месяцев научился у нашего повара русской грамоте и первым четырем правилам арифметики, а присутствуя при уроках господских сыновей, я в полгода затвердил наизусть множество французских и немецких слов и несколько ознакомился с географическими и историческими именами. Учителя, приметив мою понятливость и любопытство, спрашивали меня иногда, для своей забавы, о том, что я запомнил из слышанных уроков, и объясняли мне, чего я не понимал. Таким образом я сделался _ученым_ – между лакеями. Я был доволен моим состоянием, сравнивая его с моим положением у жида, и хотя людей, вообще, в доме г-на Скотинки содержали и кормили весьма дурно, более от небрежения, нежели от скупости; но я имел свои преимущества, вознаграждавшие меня за другие недостатки. Я пользовался остатками завтраков и ужинов детских; мне дарили деньги на пряники в модных магазинах, в аптеке и в других местах, куда я ходил за делами барыни; сверх того, я завел игру в орлянку с соседними мальчиками и форейторами и, отчасти счастьем, отчасти искусством, всегда почти выигрывал. Я даже успел составить себе небольшой капитал, которого мне было достаточно на лакомство и на утоление голода, в случае нужды. Таким образом я прожил в доме г-на Скотинки, в Москве, полтора года, не заботясь о будущем и не предусматривая никакого улучшения своей участи. Самые лестные мои надежды состояли в том, чтобы со временем занять, при одном из господских сыновей, место камердинера или возвратиться к прежнему моему господину, Миловидину, которого ласковость и добродушие навсегда напечатлелись в моем сердце и памяти. Судьба устроила иначе.

Однажды я дожидался в модном магазине окончания какой-то работы для моей барыни. Вдруг вошла в магазин госпожа, одетая великолепно, и начала перебирать разные вещи. Взглянув нечаянно на меня, она остановилась и смотрела пристально, с каким-то особенным участием. Она хотела приняться снова за рассматривание товаров, но, как бы по невольному влечению, взоры ее беспрестанно устремлялись на меня. Наконец она не могла победить своего внутреннего чувства и подошла ко мне.

– Чей ты мальчик, душенька? – сказала барыня ласково, погладив меня по щеке.

– Я и сам не знаю, – отвечал я. – Теперь служу у г-на Скотинки.

– Кто этот г-н Скотинко?

– Богатый барин; он приехал в Москву на житье, года полтора тому назад, и я пристал к нему на службу, в дороге.

– Итак, ты вольный, а не крепостной?

– Я, право, не знаю, чей я; я вырос в Белоруссии, в доме г<осподи>на Гологордовского...

При сих словах барыня прервала мой рассказ, поспешно вышла из магазина и велела мне за собою следовать. Она отослала к карете своего лакея, ожидавшего на лестнице, и продолжала со мною разговор.

– Как тебя зовут?

– Иваном.

– А сколько тебе лет?

– Не знаю.

– Ты говоришь, что вырос в доме г<осподи>на Гологордовского, – сказала барыня. – Кто ж твои родители?

– Не знаю, я сирота. – Во все это время я смотрел в лицо барыне и заметил, что она покраснела и глаза ее наполнились слезами.

– Иваном, – сказала она тихим голосом. Потом, помолчав, примолвила: – Ванюша! нет ли у тебя какого знака на левом плече?

– А почему вы знаете, барыня что меня большой рубец на плече?

При сих словах госпожа закрыла платком глаза и несколько времени молчала. Наконец она поцеловала меня в лицо, спросила о месте жительства г<осподи>на Скотинки, дала мне рубль серебром и, не велев никому сказывать о нашей встрече и об ее расспросах, пошла к своей карете, сказав, что мы скоро увидимся.

Я проводил добрую госпожу глазами до кареты и возвратился в магазин. Как я был пригож лицом в детстве, то меня часто ласкали незнакомые люди, особенно женщины, даже останавливая на улицах; но ни одно подобное приключение не производило во мне такого сильного впечатления как эта встреча. Сердце мое сильно билось: прекрасное лицо госпожи и ее черные глаза беспрестанно представлялись моему воображению; ее нежный голос раздавался в ушах моих. Я печально возвратился домой. Всю ночь мне снилась добрая госпожа; я несколько раз просыпался и принимался плакать с горя и досады, что не попал к таким ласковым господам. Мне хотелось служить у этой доброй, ласковой госпожи! О других чувствах я не имел понятия.

На другой день, в 12 часов утра, подъехала к нашим воротам карета, в шесть лошадей, цугом, с тремя ливрейными лакеями. Один из лакеев вошел в переднюю и просил доложить г-ну Скотинке, что князь Чванов желает говорить с ним по весьма важному делу. Г. Скотинко, сидевший в халате, тотчас надел фрак, велел просить князя и ожидал его в передней. Князь имел от роду лет семьдесят; лицо его украшено было морщинами и красными пятнами; лысая голова была покрыта тестом из пудры с помадою; остатки седых волос сбиты были в пукли и связаны в косу. Он едва передвигал ноги, и лакеи вели его под руки с такою осторожностью, как будто он был стеклянный и мог разбиться в куски от малейшего прикосновения. Г. Скотинко принял князя с низкими поклонами и проводил в гостиную; но князь желал переговорить с ним наедине, и они перешли в кабинет, где оставались около часа. Наконец г. Скотинко выглянул из кабинета и кликнул меня. Я думал, что мне велят подать что-нибудь, но как я удивился, когда г. Скотинко, указав на меня, сказал:

– Вот он, – а князь стал гладить меня по голове и трепать по щекам, приговаривая что-то на иностранном языке.

– Ванька, – сказал мне г. Скотинко, – поезжай сейчас с его сиятельством. Я более не имею над тобою права: вот твой благодетель.

Я так был изумлен сими словами, что ничего не отвечал и стоял неподвижно. Князь встал, пожал руку г-ну Скотинке и потащился к дверям, опираясь на мое плечо. В передней г. Скотинко сказал мне:

– Ну, прощай, Ваня; ты уже больше не мой слуга: ступай за его сиятельством.

Камердинер подал мне шапку, и я вышел за князем на улицу. Я почти испугался, когда князь велел мне сесть в карету рядом с собою. Я был в таком замешательстве, что не смел поднять глаза и перевести дыхания. По счастью, князь молчал во всю дорогу и дремал. Сердце мое сильно забилося, когда мы остановились возле великолепного дома. Неизвестность участи иногда хуже верного несчастья.

Лишь только мы вошли в комнаты, блестящие золотом, бронзою, фарфором, испещренные коврами и картинами, князь сел на софу и велел позвать к себе дворецкого. Я между тем стоял у дверей и смотрел на все с любопытством. Вошел дворецкий.

– Возьми этого мальчика, – сказал князь, – поезжай с ним по всем портным и швеям, купи для него лучшего белья, модное платье по его летам, одень, как куколку, как княжеского сына, вели порядочно остричь, вымой его, вычисти и, нарядив как можно лучше, отвези к Аделаиде Петровне. Слышишь ли?

– Слушаю, ваше сиятельство.

– Чтоб все было готово к шести часам: я сам буду на вечер к ней.

Дворецкий мигнул мне, и я вышел за ним.

Дворецкий, без дальних расспросов, посадил меня с собою на извозчичьи дрожки и привез к портному. Здесь он меня оставил, приказав портному исправить немедленно поручение князя и сказав, что он заедет за мною чрез несколько часов. Жена портного побежала со двора купить для меня белья. Портной сыскал прекрасное готовое платье, курточку и шаровары из казимира, фиолетового цвета, с блестящими пуговицами. Башмачник принес башмаки. Волосы мои острижены были в кружок, по-русски. Парикмахер приладил их и завил в кудри. Хозяйка вскоре возвратилась с бельем и с вышитою манишкой: она сама вымыла меня, одела и не могла удержаться, чтоб не поцеловать меня в румяные щеки. Я почти не узнал себя, когда взглянул в зеркало и с гордостью удостоверился, что я красивее детей г-на Гологордовского, Скотинки и всех мальчиков, мною виденных в домах этих господ. Вскоре возвратился дворецкий и также изумился моему превращению. Мы опять сели на извозчичьи дрожки и поехали по назначению князя. Я ни о чем не спрашивал, а только любовался своим платьем.

Приехав к одному небольшому, чистенькому, деревянному домику, мы остановились, и дворецкий повел меня за руку в комнаты. Лакей отворил двери в залу, и я чуть не упал в обморок от радости, когда увидел ту самую госпожу, которая расспрашивала меня вчера, в магазине. Госпожа тоже вскрикнула от радости, бросилась обнимать и целовать меня и повела в другую комнату, отпустив дворецкого. Когда мы остались одни, госпожа села на софе, посадила меня возле себя, велела снять курточку, осмотрела знак на левом плече и принялась плакать. Я также плакал, думая, что доброй госпоже приключилось какое-нибудь горе.

– Ваня, – сказала мне она. – Ты теперь не будешь более слугою. Ты мой родной племянник, сын сестры моей. Ты должен называть меня тетушкой и никому не говорить, чем ты был прежде. Теперь ты будешь баричем, точно таким же, как дети Гологордовского и Скотинки.

– О! нет, тетушка! – сказал я. – Я хочу быть гораздо лучше их. Они обходятся дурно с бедными мальчиками и слугами, шалят, обманывают родителей и не учатся.

Вместо ответа тетушка поцеловала меня.

– Не хочешь ли ты чего-нибудь, Ваня? – спросила она.

– Я голоден, тетушка.

Она позвонила: явилась служанка, и тетушка велела накормить меня, сказав, кто я таков, и приказала отвезти мне особую комнату и устроить все для моего помещения.

Тетушка моя, Аделаида Петровна, была женщина лет тридцати, но по лицу казалась гораздо моложе. Она была красавица, в полном значении этого слова. Черные ее волосы,

нежные, как пух, придавали белому лицу особый оттенок; свежий румянец украшал ее щеки. Черты лица были правильные и одушевлялись сладостною улыбкой и выражением сердечной доброты. Черные глаза, осененные длинными ресницами и нежными бровями, привлекали к себе взоры, как магнит железо. Розовые, полные уста и белые зубы манили поцелуй на прелестный ротик. Она была высокого роста и прекрасной осанки. Одним словом, наружность тетушки была привлекательная, а ласковое и приятное ее обхождение увеличивало ее красоту. Тетушка говорила по-французски и по-итальянски, играла отлично хорошо на фортепиано и пела, как соловей. Она жила очень хорошо. Квартира ее была довольно обширна и прекрасно меблирована. В услужении у нее были: два лакея, две служанки, повар, кучер и дворник для черной работы. На конюшне была пара красивых лошадей. В доме ни в чем не было недостатка. К ней ездило много гостей, но весьма мало женщин, и то несколько актрис и иностранок. Всякую неделю был у тетушки музыкальный вечер, на который собирались разные виртуозы и знатные господа, по большей части люди пожилые. Люди средних лет и юноши приезжали только со своими родственниками, и то весьма редко. Кроме того, тетушка принимала ежедневно гостей к чаю, а некоторых к обеду и к ужину. Князь Чванов приезжал ежедневно и был в доме вроде папеньки. Люди повиновались ему, как своему господину, а тетушка слушалась во всем, хотя иногда и неохотно, как я примечал это. Иногда князь наедине спорил с тетушкой, которая всегда плакала при таком случае, а иногда даже падала в обморок. Тогда князь целовал у ней руки, просил прощения, и дружба снова восстанавливалась на прежнем основании. Только я видел ясно и понимал, что посещения князя не нравились тетушке; она всегда морщилась, когда его карета подъезжала к крыльцу, и всегда приятно улыбалась, когда она отъезжала вместе с князем.

Тетушка моя была одна из тех женщин, которые почитают красоту первым достоинством, наряд первую потребностью жизни, а первым наслаждением – удивление мужчин и зависть женщин. Она употребляла большую часть времени на то, чтобы наряжаться и показываться в публике во всем блеске красоты и богатства. Даже любимое ее занятие, музыка, служило ей только предлогом к привлечению в дом свой людей хорошего общества, которые для того именно принимали на себя название _любителей_ сего искусства. Она была вдова одного итальянца, по имени Баритона, который некогда занимался преподаванием уроков музыки и пения. Я ничего не знал о происхождении моей тетушки, и она никогда ни с кем не говорила ни о своих родственниках, ни о месте своего рождения. Она называла себя русскою и ездила иногда в русскую церковь к обедне и к вечерне, но только в большие праздники. В то время, когда я вошел к ней в дом, она была особенно дружна с одним молодым, небогатым дворянином, служившим в Москве, Семеном Семеновичем Плезириным. Он исполнял все поручения тетушки, сопровождал ее в театр, в концерты и на прогулках и несколько раз в сутки забегал в дом, но всегда в такое время, когда не было старого князя Чванова. Плезирин только на музыкальных вечерах являлся иногда к тетушке в присутствии князя и тогда обходился с ней с холодною вежливостью, как будто между ними не было тесного знакомства, а только музыкальная связь. Другим поверенным тетушки был французский аббат Претату, человек лет сорока пяти, приятной наружности и весьма веселого нрава. Он был домашним другом князя Чванова, жил у него в доме, на всем готовом; получал жалованье, или, лучше сказать, пенсион за воспитание сына (который уже находился в службе, в Петербурге); управлял его библиотекою, заведовал картинами и был поверенным во всех тайных делах. Аббат Претату также бывал почти всякий день у тетушки, но никогда не встречался с Плезириным. Тетушка во всем соблюдала большой порядок и всякому делу, всякому посещению назначено было свое время. В доме ее было четыре входа, каждый из особой комнаты и с особой стороны: один с улицы, другой из-под ворот, третий со сквозного двора, четвертый из сада. Гости входили и выходили, не встречаясь друг с другом, если этого желала тетушка. Все, посещавшие тетушку, оказывали ей самую нежную дружбу, и я весьма удив-

лялся, что те самые господа, которые в доме у нее были столь обходительны, даже не кланялись ей на улицах и в театре, когда были с другими женщинами, но отворачивались всегда, как будто не замечая тетушки. Женщины же поглядывали на нее с улыбкою или исподлобья и, глядя не нее, всегда почти перешептывались между собою. Но тетушка моя была так добра, что ни на что не гневалась. С служителями своими она обходилась весьма ласково и только иногда сердилась на свою горничную, когда она, помогая ей наряжаться, делала что-нибудь неловко, неохотно или медленно. Но маленькую свою вспыльчивость она всегда вознаграждала ласковым словом и подарками, и потому горничная ее служанка была к ней привязана, даже более других слуг. Одним словом, тетушка была любима всеми, кто только знал ее; а я, хотя после всех узнал ее, любил более всех, и сам был первым предметом ее нежности и попечений.

У меня была своя комната, с чистою постелью и комодом, наполненным платьем и бельем. Тетушка и служанка кормили и приглаживали меня с утра до вечера. Всякий день тетушка возила меня с собою прогуливаться и утешалась громкими похвалами моей приятной наружности. Все ее знакомые и приятели ласкали меня и дарили конфетками и игрушками. Прошло три месяца от перемены моей участи, и я не мог еще опомниться. Иногда во сне представлялось мне прежнее мое положение: тогда я пробуждался с воплем и начинал горько плакать, опасаясь возвращения жесткой сущности. Я всегда рассказывал ужасные мои сны тетушке, которая утешала меня уверениями, что мои несчастья никогда более не возобновятся. Наконец, мало-помалу, я начал забывать о прежнем моем состоянии. Это даже простительно в детских летах. Сколько взрослых людей забывают в счастье, чем были прежде, и, что еще хуже, избегают людей, которые вывели их из беды! По крайней мере, я не похож был на них в этом: я обожал мою тетушку.

Однажды Плезириин пришел весьма рано, не в обыкновенное свое время. Подали кофе, и тетушка призвала меня в свою комнату.

– Ваня, надобно учиться, – сказала она. – По моему расчету, тебе должно быть от роду, по крайней мере, двенадцать лет. Семен Семенович приискал для тебя учителей. Ты станешь учиться по-французски, по-немецки, играть на фортепиано и танцевать. Хочешь ли ты?

– Как не хотеть, если это вам угодно, тетушка, – отвечал я.

– Помни, что если ты станешь хорошо учиться, то будешь всегда так же хорошо одет, как теперь, и будешь всегда иметь хорошее кушанье; а если не будешь ничего знать, то можешь быть опять несчастлив. – Дрожь проняла меня от сих слов, и я трепещущим голосом сказал:

– Я стану прилежно учиться, тетушка!

– Хорошо, Ваничка, – возразила она и, оборотись к Плезириину, примолвила: – Я вам уже сказала, что он должен иметь фамилию: этот день должен все решить, – придумайте.

Плезириин задумался, прошел несколько раз по комнате и сказал:

– Вы мне говорили, Аделаида Петровна, что узнали своего племянника по удивительному его сходству с покойным отцом, а удостоверились в подлинности своих догадок по рубцу, оставшемуся на его плече от выжженного в его младенчестве нароста.

– Точно так, – отвечала тетушка.

– Итак, ваш племянник должен называться Выжигиным: это характеристическое прозвание будет припоминать ему счастливую перемену в его жизни от этой приметы – и... Тетушка не дала ему кончить:

– Прекрасно, прекрасно! – воскликнула она. – Отныне Ваня будет называться Иваном Ивановичем Выжигиным. Слышишь ли, Ваня?

– Слышу.

– Ну, как тебя зовут?

– Иван Иванович Выжигин.

– Очень хорошо, – сказала тетушка. – А кто ты таков?

– Племянник Аделаиды Петровны Баритоне.

– Нельзя лучше, – сказала тетушка. – Теперь помни, что твой отец был чиновник из дворян и назывался Иванов; он даже составил себе порядочное имение, но, по несчастью, разорился и умер, во время твоего детства; а мать твоя, моя сестра, также дворянка, вышедшая по любви замуж, умерла на другой день после твоего рождения на свет. Как у отца твоего не осталось родственников, то тебе все равно как называться. Ивановым или Выжигиным.

Я молчал и слушал.

– Теперь, Ваня, ступай в свою комнату, – сказала тетушка, – завтра начнутся твои уроки.

Плезирин, который любил подшучивать, сделал мне поклон, примолвив:

– До свиданья, Иван Иванович Выжигин: прошу любить и жаловать своего крестного папеньку.

Тетушка засмеялась и сказала:

– Позволяю любить, но запрещаю походить на него, чтоб не заслужить названия – *manvais subject* (негодяя).

Это французское выражение я знал давно, потому что учителя называли таким образом, за глаза, детей г. Гологордовского и Скотинки, и потому я за долг почел отвечать:

– Не бойтесь, тетушка, я постараюсь быть не похожим на Семена Семеновича.

На другой день явились учителя. Засыпанный табаком немец, г. Бирзауфер, старик, с багровым лицом, на котором цвели лавры Бахусовы. Г. Феликс, молодой француз, работник с помадной фабрики, который, обучая грамоте начинающих, сам учился ремеслу учителя и гувернера. Г. Шмир-нотен, также немец, учитель музыки и пения, хотя знал очень хорошо теорию музыки, но играл на фортепиано так дурно и ревел так громко и нескладно, что все в доме затыкали себе уши, когда ему приходила охота петь или играть после урока. Танцевать я обучался в танцклассе, у одного хромого театрального танцора, сломавшего себе ногу в роли какого-то чудовища, при представлении волшебного балета. Мои учителя языков следовали противоположным методам. Когда я научился читать, немец стал мне вбивать в голову грамматические правила, а француз, мало заботясь о грамматике, заставлял меня выучивать наизусть как можно более слов и речений. Как у нас в доме беспрестанно болтали по-французски и все почти гости, наперерыв друг перед другом, экзаменовали меня в моих успехах во французском языке, то я весьма скоро сам стал болтать и совершенно понимать все разговоры, к большой радости тетушки. Когда я уже понимал, что читаю, г. Феликс стал учить меня грамматике, то есть: растолковал, что значит роды, имена существительное и прилагательное; научил употреблять члены (*les articles*) и спрягать глаголы вспомогательные. Чрез год я уже говорил по-французски почти так же хорошо и, по крайней мере, так же смело, как другие наши знакомые; а в немецком языке едва дошел только до склонений. На фортепиано я играл гораздо лучше моего учителя и пел так приятно, что даже на наших музыкальных вечерах певал соло. Танцы были для меня наслаждением: в течение года я выучил не только вальс и кадрили, но и менуэт, аллеманд, матрадур, тампет и все тогдашние модные прыжки. На четырнадцатом году от роду и в один год воспитания я был, по словам тетушки: *un jenne homme accompli* (совершенный юноша): болтун, ловок, смел и даже дерзок: все эти качества назывались признаками гения. В совете друзей тетушкиных положено было отдать меня в лучший пансион, чтоб сделать из меня *ученого*. Князь Чванов взял на себя платить за мое воспитание. Но как тетушка ни под каким видом не хотела расстаться со мною, то в день моих именин, когда, по расчету тетушки, мне исполнилось четырнадцать лет, меня записали полупансионером в учебное заведение г. Лебриллиана, где обучались дети лучших русских фамилий. Мне накупили разных книг, подарили богатый портфель, и я начал прилежно посещать классы, примечая, что мои успехи в науках доставляют тетушке радость, а мне подарки.

Я обещал тетушке быть лучше детей Гологордовского и Скотинки, но как одни причины производят одни последствия, то я от баловства приобрел те же пороки. Меня все хвалили и ласкали в глаза: я сделался горд и возмечтал, что я лучше всех. Мне ни в чем не отказывали и тем самым возбуждали более желаний, потому что прихоти рождаются по мере возможности удовлетворять их. В пансионе взрослые мальчики (насмотревшись дома на занятия родителей) играли между собою в карты, угощали друг друга завтраками, и тот из нас, кто мог издерживать более, пользовался уважением своих товарищей. Когда у меня не доставало денег на мои забавы, я выдумывал необходимые надобности и, не смея открываться тетушке в том, что мы делали украдкою, просил денег на книги, краски, циркули, бумагу и таким образом научился лгать и обманывать. Тетушка и знатные господа, ее приятели, исполняли мои желания и не противоречили мне, и так я почитал непростительным проступком в слуге, если он медлил исполнять мои приказания, а от этого сделался груб в обращении с слугами, взыскателен и капризен. С бедными товарищами моими я обходился дерзко, с богатыми – надменно, почитая себя богаче первых и лучше других. Учителей и гувернеров я не боялся и не уважал оттого, что содержатель пансиона, опасаясь лишиться покровительства князя Чванова и подарков тетушкиных, льстил мне, смотрел сквозь пальцы на мои шалости и не удовлетворял жалобам учителей. Итак, я невольно сделался во всем похожим на тех детей, которые прежде казались мне столь несносными. Я даже потерял охоту учиться, потому что голова моя всегда занята была чем-нибудь другим. Но, по счастью, необыкновенная моя память и врожденная понятливость заменяли прилежание: слушая уроки мимоходом и никогда не уча наизусть, я знал лучше других все, что преподавали у нас в пансионе, кроме, однако ж, математики. Изучение ее требует непременно постоянного занятия, повторений и выписок, и как это было не по моему вкусу, то я решительно объявил тетушке, что не имею никакой склонности и способности к математике. Она, посоветовавшись с г. Плезириным и аббатом Пре-тату, уволила меня от математических лекций, и все мои познания в сей науке ограничились арифметикой.

ГЛАВА X

ЭКЗАМЕН В ПАНСИОНЕ. ИСКУСИТЕЛЬ. НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ ТЕТУШКИН. ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ. ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

Быстро летит время детства. Я рос, роскошествовал в доме тетушки, учился, шалил в пансионе и не имел времени замечать, что происходило в нашем доме, а потому и умалчиваю об этом. Наступило время торжественного испытания в пансионе и выпуска из верхнего класса, в котором я был один из лучших учеников. Старшему из нас было не более семнадцати лет от роду, но все мы почитали себя достойными занять первые должности в государстве и сожалели о потерянном времени не для ученья, а для выслуги офицерского чина. С нетерпением ожидали мы экзамена, о котором посланы были повестки к родителям за две недели вперед. Начались приготовления. Каждому ученику даны были прежде вопросы и ответы для выучения наизусть, и учителя ежедневно делали репетиции, обучая нас по разным условным знакам, что должно отвечать, если кто-либо из посторонних спросит о том, что не было означено в прежних вопросах. Например, все пуговицы на фраке и на жилете у учителей языков означали части речи и все грамматические правила. Все их движения имели особенные значения. Нос у профессора фортификации значил бастион, рот крепостной ров, зубы палисады, подбородок гласис, глаза флеша, затылок тетдепон и т. п. Голова учителя географии представляла Вселенную. Маковка на голове его означала зенит, а подбородок надир; щеки поворотные круги, нос эклиптику, коса первый меридиан, рот океан, глаза неподвижные звезды и т. д. Кроме учителей ученики также научились помогать своим товарищам посредством знаков. Г. Лебриллиан изготавил аттестаты каждому ученику для представления родителям, родственникам и опекунам. Хорошая или дурная аттестация в науках и поведении зависела не от успехов и нравственности учеников, но от знатности, богатства, щедрости и степени привязанности родителей и родственников к детям. От кого г. Лебриллиан надеялся получить более выгод, тот получал лучший аттестат, а как нельзя было предполагать, чтоб в пансионе не было шалунов и ленивцев, то дурные аттестаты определены были детям отсутствующих родителей, сиротам, о которых опекуны, по обыкновению, мало заботились, и двум бедным пансионерам, которых г. Лебриллиан воспитывал даром, для того чтобы прославиться добродушием и щедростью. Всем ученикам, которые должны были получить награды, разумеется купленные на их же деньги, и хорошие аттестаты, сказано было об этом прежде, под секретом и поручено пригласить на экзамен как можно более родственников и знакомых. Наконец, после успешных приготовлений, наступило торжество.

Зала была наполнена посетителями, чиновниками, дамами и учеными, которые были в дружеских связях с г-м Лебриллианом. Торжество открыто было речью на французском языке, которую произнес я с величайшею смелостью. Речь сочинил аббат Претату, а поправляли все учителя, включая в то число и учителя чистописания. За предпочтение, которого я удостоился, тетушка подарила жене г-на Лебриллиана кусок шелковой материи и несколько аршин кружев, полученных ею в подарок от князя Чванова. Испытание взрослых учеников шло довольно успешно благодаря условленным знакам. Многие из посетителей, друзья наших учителей, делали нам трудные вопросы, о которых мы знали прежде, – и неопытные родители удивлялись нашим познаниям. Но между нами было несколько тупоумных, которые никак не могли вытвердить наизусть ни заданных вопросов, ни условных знаков, и от этого произошло несколько весьма странных недомолвок и перемолвок. Например, у сына обер-секретаря спросили: "Какого рода занятием или промышленностью приобрета-

ется более наличных денег в государстве?" Тщетно учитель статистики запускнул руку в боковой карман, что, по условию, означало _торговлю_, – юноша, наслушавшись от родителей суждений по сему же предмету и думая, что даст надлежащий ответ, сказал: "тяжбами!" Все засмеялись, и отец юноши закрыл лицо платком, как будто утирая пот. У другого ученика, сына богатого и надменного стряпчего, спросили: "Какие _вспомогательные глаголы_ в русском языке?" Он молчал. Отец его, недовольный этим, с досадою сказал:

– Ваня, разве ты забыл здесь то, чему научился еще дома? Кто-то шепнул Ване на ухо, и он отвечал:

– У _нас_ вспомогательные глаголы: _лгать_ и _брать_.

Хохот снова поднялся во всех концах залы, и гордый стряпчий побагровел от злости. Г. Лебриллиан, для избежания соблазна, стал сам спрашивать учеников. Он экзаменовал так искусно, что все отвечали удачно, к величайшему удовольствию матушек и тетушек. Вот несколько примеров педагогики г. Лебриллиана.

– Как называется главный город в Испании? – спросил Г. Лебриллиан. – Не Мадрид ли?

– Мадрид, – отвечал ученик.

– Прекрасно. А при какой реке он лежит? Не при Мансенаресе ли?

– Мадрид лежит при реке Мансенаресе, – отвечал ученик проворно и громко.

– Очень хорошо, очень хорошо; садитесь. Теперь скажите мне, вы, г. NN, справедливо ли называют Волгу самую большую рекою в Европейской России?

– Самая большая река в Европейской России есть Волга, – отвечал ученик скороговоркою.

– Очень хорошо, прекрасно. Скажите мне, г. NN, кто был первым римским императором, когда Август принял первый императорское достоинство?

– Август, – отвечал ученик.

– Очень хорошо, – сказал г. Лебриллиан.

Таким-то образом все ученики отвечали удовлетворительно на вопросы г-на Лебриллиана, и нежные родители согласились единодушно, что в пансионе обучают прекрасно и если дети иногда отвечают невпопад, то это от того только, что их не умеют спрашивать так умно, как ученый г. Лебриллиан.

Экзамен продолжался два часа; после того нам роздали награды и аттестаты, при звуке труб и литавров, и отпустили с родителями. Мужчины, то есть приятели содержателя пансиона и учителей, помогавшие им испытывать нас, по условным знакам, и домашние друзья богатых родителей остались обедать у г-на Лебриллиана, к которому для этого еще накануне принесены были корзины с вином из разных домов. Три дня сряду не было ученья в пансионе оттого, что гг. учителя отдыхали после пирушки.

Я хотя уже кончил курс наук, преподаваемых в пансионе, но, по совету аббата Претату, должен был продолжать слушание лекций в пансионе, пока будет придумано, что со мною должно делать. Я из другой комнаты слышал, как аббат давал тетушке наставления по сему предмету.

– Пускай Ваня ходит в пансион, – сказал аббат. – Вам это ничего не стоит, ибо платит за него князь. Это нужно не для наук, но для того, чтоб он не научился дома тому, чего ему знать не следует. Юность любопытна и сметлива, а наш Ваня всегда был умен и догадлив не по летам. Вы понимаете меня? Мы скоро его пристроим.

– Пусть будет по-вашему, – отвечала добрая моя тетушка. – Из любви к нему я готова на все.

Как скоро классные мои товарищи оставили пансион, я почитал себя выше всех и вовсе перестал учиться. В классах я читал книги, которыми наделял нас общий пансионный знакомец, Лука Иванович Вороватин. Он не был знаком с моею тетушкой, и меня ввели к нему мои товарищи. Лука Иванович жил напротив нашего пансиона и был в приязни не только

с г-м Лебриллианом, но со всеми учителями и гувернерами, а потому, в свободное от учения время, позволяли пансионерам ходить к нему и оставаться иногда до полуночи. Лука Иванович обучал нас играть во все карточные игры, и даже в банк и в штос, позволял нам курить трубки, потчевал вином, пуншем и водкою и забавлял рассказами о любовных своих похождениях. У него была небольшая библиотека заповедных книг и – все соблазнительное, что только ходило по рукам, в стихах и прозе, находилось в его небольшом собрании рукописей. Несколько портфелей наполнены были гравированными и рисованными картинками, которых он, верно, не смел никому показывать, как только нам, неопытным, и столь же развратным, как и он, приятелям. В беседах своих с нами он беспрестанно насмехался над всеми духовными и гражданскими обязанностями человека, над тяжестью родственных связей и сыновней подчиненности, словом: над всем, что добрые люди почитают священным. Лука Иванович тщательно наблюдал наши склонности, постепенно развивал в нас страсти, возбуждал желания и беспрестанно твердил, что цель жизни есть наслаждение и что при стремлении к какой бы то ни было цели самые скорые и верные средства суть всегда самые лучшие. По правилам г-на Вороватина, для детей была одна только обязанность в жизни, в отношении к родителям, а именно представляться такими, какими они желали видеть своих детей. Откровенность с родителями и со всеми старшими он почитал пороком и глупостью. Адские свои правила г. Вороватин прикрывал названием новой философии и под именем прав натуры и прав человека посеивал в неопытных сердцах безверие и понятия о скотском равенстве. Идеи его нам чрезвычайно нравились, потому что в них находили мы все, что могло льстить нашему самолюбию, и все, чем можно было доказать наше мнимое право на независимость. Мы почитали себя философами XVIII века и всех, кто думал не так, как мы и как г. Вороватин, называли варварами и невеждами. Вороватин знал все соблазнительные анекдоты о лучших фамилиях и, рассказывая о слабостях родителей, искоренял в сердцах детей семена приверженности и уважения к старшим. Он жил игрою и всякого рода оборотами: давал деньги взаймы богатым наследникам, обыгрывал их, торговал векселями и вещами, которые он брал в долг в магазинах, и служил любовным агентом и орудием во всех интригах старым и молодым, мужчинам и женщинам. Вороватин знал целый город, и хотя он не показывался в порядочных семействах в приемные дни, но был весьма часто призываем для совета и помощи к богатым и знатым. Лука Иванович имел около сорока лет от роду, был малого роста и сухощавого сложения. Волосы имел рыжеватые, лицо бледное, покрытое морщинами, преждевременными следами разврата. Он всегда смотрел, прищуря глаза, и мрачный взгляд его возбуждал какое-то неприятное впечатление. Вороватин хвалился, что он уже успел воспитать целое поколение по правилам новой философии, и, в самом деле, величайшие негодяи и развратники в столице были с молодых лет его приятелями. Ни один из них не избегнул бесплатно его наставлений: он помогал им мотать и первый пользовался расстройством их дел. Набожные люди называли Вороватина демоном, молодые весельчаком, а неопытные юноши, как я уже сказал, – философом. В летописях полиции он был известен под именами фальшивого игрока и аферщика.

Лука Иванович особенно привязался ко мне, предсказывая, что я буду великим философом и достигну до высокой степени богатства и знатности. Он при мне никогда не говорил дурно о тетушке моей, зная мою к ней приверженность, однако ж запретил мне рассказывать ей о нашем знакомстве, говоря, что он личный враг князя Чванова и Плезирина, которые могут оклеветать его пред тетушкою, и она, по женскому легковерию, разорвет нашу дружбу. Вороватин давал мне даже деньги на игру и на другие мои надобности и не называл меня иначе, как меньшим своим братом. Я был у него в квартире вроде второго хозяина; приходил, когда мне было угодно, делал, что хотел, и, хотя бы его не было дома, приказывал его слугам, потчевал моих товарищей на его счет и распоряжался его имуществом, как своим. Мудрено ли, что такое обхождение Вороватина заставляло меня верить, что он любит меня

за одни личные мои достоинства? И это самое привязывало меня к нему. Я даже гордился этим предпочтением. Между нами не было тайн, и я, по желанию его, рассказал ему мои похождения, бедствия моего детства, встречу с тетушкой и наконец показал ему счастливую примету, по которой она удостоверилась, что я племянник ее. Казалось, что со времени моей откровенности Вороватин еще нежнее любил меня. Он был первый, которому я открылся.

Между тем в дом тетушки стал ездить весьма часто один вельможа, который занимал важное место в Петербурге и, получив отставку, переселился на житье в Москву, чтоб наслаждаться свободно приобретенным (не знаю, благо или неблаго) богатством в течение долговременной своей службы. Г. Грабилин имел от роду лет за пятьдесят, но был бодр и силен не по летам. Он был горд, дерзок в речах и поступках, капризен и своим обхождением часто заставлял плакать тетушку. Он был полным хозяином в доме, приставил своих слуг и запретил тетушке принимать гостей без его позволения, кроме нескольких пожилых музыкантов. Грабилин не откликался, не поворачивался и не отвечал, если его не величали превосходительством. Семен Семенович и аббат Претату не смели показываться в нашем доме, и только князь Чванов ездил по-прежнему. Тетушка называла его своим крестным папенькой и благодетелем, и Грабилин не смел противиться князю, а напротив того, воспользовался этим случаем, чтоб свести с ним тесную дружбу. Два старика проводили иногда время, толкуя о политике; а тетушка между тем выходила к соседке, своей приятельнице, поселившейся в другой половине дома, где всегда находила Семена Семеновича или кого другого из прежних своих знакомых. Государственные дела, в которых старики более не участвовали, до такой степени занимали их, что они, в жару своих споров и пересудов, не заботились даже об отсутствии тетушки. Однако ж со времени появления Грабилина все переменилось в доме тетушкином; даже музыкальные вечера расстроились, и вообще какое-то уныние заступило место прежней веселости. Особенно мне было скучно. Грабилин обходился со мною весьма надменно, едва удостоивал взглядом, журил за каждое нескромное слово, за каждое свободное движение и не любил, чтобы я, по моей привычке, вмешивался в разговоры. Я избегал его присутствия и, под предлогом занятий в пансионе, почти жил у Вороватина.

Вороватин познакомил меня в нескольких домах, куда, без дальних связей, меня приглашали обедать, ужинать и танцевать. Чаше других посещал я одну короткую приятельницу Вороватина, у которой была прекрасная дочь. Матрена Ивановна Штосина, вдовушка лет тридцати пяти, веселая и ветреная, любила светские удовольствия, рассеяние и карточную игру. Она имела довольно обширный круг знакомства в сословии подьячих из разного рода приезжих дворян из губерний. Муж ее был каким-то чиновником на прибыльном месте и оставил ей, после своей смерти, дом и порядочное состояние. У нее почти каждый вечер собиралось множество гостей, мужчин и женщин, играть в карты и говорить о делах. Начали коммерческими играми, а кончали всегда банком, штосом и квинтичем. Груня, ее дочь, на пятнадцатом году слыла красавицей. Она была задумчивого нрава, проводила большую часть времени одна, в своей комнате, в чтении чувствительных романов и знала наизусть "Страсти молодого Вертера" и "Новую Элоизу". Я имел случай разговаривать с нею весьма часто, в то время когда ее матушка понтировала или забавлялась квинтичем. Мы весьма скоро подружились с Грунею и, после нескольких споров о морали и философии, согласились завести между собою переписку о разных философских предметах, для усовершенствования себя во французском языке и в мудрости. Но мудрость не любит вмешиваться в дела юношей с молодыми девицами. Вскоре философические наши письма приняли тон писем нежного Сент-Пре и мягкосердной Юлии, и мы, не зная, как и зачем, открывались в любви друг другу и мечтали о будущем нашем блаженстве. Разумеется, что Вороватин был моим поверенным в любви. Он ободрял меня, воспламеняя неопытное мое сердце надеждами и описаниями счастья влюбленных, и советовал, как вести себя с Грунею. В бедствиях дитя скоро созревает, а муж стареет. Только в довольстве и в баловстве юный ум ослабевает и

останавливается на посредственности. Но дитя, оставленное самому себе, или погибает или разворачивает все нравственные силы с необыкновенною быстротой. Я уже сказал, что меня с самого детства почитали умным не по летам. Физическое мое сложение также развернулось чрезвычайно скоро, при всех удобствах жизни, и я в семнадцать лет казался двадцатилетним юношею. Страсти сильно кипели в душе моей, тысячи желаний обуревали мои мысли, но ни одна страсть не владела мною исключительно. Иногда, смотря на чиновного человека в звездах и лентах или на генерала в блестящем мундире, я мучился несколько дней честолюбием и делал планы, как достигнуть почестей. В другой раз, блестящий экипаж, богатое платье, великолепный дом заглушали в сердце моем голос честолюбия и порождали желание богатства: я томился над придумыванием средств к составлению, в скорейшем времени, огромного состояния. Иногда желание славы волновало мою душу – и я изобретал проекты, как заставить говорить и писать обо мне в целом мире. Наконец, вид прелестной женщины, прохаживающейся под руку с мужчиною, посеивал в сердце моем желание обладать подобным сокровищем – и я думал о любви и о женитьбе. Страсти мои сменялись вместе с получаемыми мною впечатлениями, не оставляя в сердце никаких следов. Но наконец дружба моя с Грунею, ежедневная переписка с нею и частые свидания открыли мне новое поприще и поглотили все прочие зародыши страстей. Я старался уверить себя, что я влюблен, что я должен быть влюблен, что не могу быть невлюбленным. Груня была прекрасна, умна или, по крайней мере, занимательна для меня своею беседой, в которой всплывала наверх начитанность французских романов. Она любила меня, и я, в моем воображении, прибавлял к ее истинным, добрым качествам все возможные совершенства и составил идеал, который мне угодно было назвать Грунею. Принуждая себя думать о моей любви, я беспрестанно мечтал о Груне и во всех случаях искал применения к моей страсти. Если, во время моих прогулок, я слышал, что какой-нибудь ямщик или сиделец запоет песню: "Очи, мои очи, вы ясные очи!" – я тотчас приводил себе на память темно-голубые глазки моей Груни. Если я слышал, что кто-нибудь скажет о женщине: "Ах, как она мила!" – я говорил про себя: а моя Груня гораздо милее! Говорили ли о ком, что он счастлив с своею женой, – я думал: а я буду гораздо счастливее с моею милою Груней. Одним словом, Груня была у меня беспрестанно на сердце и на уме и я старался, чтоб она была также перед моими глазами и на языке: для этого, если я не мог быть с нею, то бывал всегда с Вороватыным, с которым мог смело говорить о моей любви.

На пятнадцатом году городские девицы уже не дети: Груня любила меня более сердцем, нежели воображением. Ум ее трудился только в приискании для меня имен романтических героев и выражений нежности. Сердце ее было занято мною вполне. Она проводила ночь без сна и в слезах, если не видела меня целый день. Когда я не мог быть у нее, то должен был, по крайней мере, пройти мимо ее окон и подать условный знак рукою, что я доволен ею и получил ее письмо. Когда мы бывали наедине, величайшее наше наслаждение состояло в том, чтоб смотреть друг другу в глаза, держась за руки, и повторять тысячу раз сказанные нежности, которые казались нам, а по крайней мере ей, новостями. Груня любила гладить своею ручкою мои полные, румяные щеки, а я играл ее мягкими локонами. Разумеется само собою, что я тысячу раз клялся ей ни на ком не жениться, кроме ее; а она клялась не выходить замуж ни за кого, кроме меня. Но когда и как – об этом мы вовсе не думали. Нам казалось самым обыкновенным делом обвенчаться и зажечь припеваючи. Я с нетерпением ожидал позволения оставить посещения пансиона и сбросить с себя звание ученика. Об этом я решился просить тетушку.

Однажды, после обеда, когда тетушка казалась веселее обыкновенного, я приступил к исполнению моего намерения.

– Любезная тетушка! – сказал я. – Вы напрасно платите за меня в пансион. Я знаю наизусть все, что там преподают, и только напрасно теряю время, слушая давно мне извест-

ное. По-французски я говорю как француз, по-немецки весьма изрядно, танцую ловко, в истории, географии и других науках знаю столько, сколько сами учителя, а кроме того, по милости вашей, хороший музыкант. Чего мне более надобно? Учителем я не могу и не хочу быть, а для светского человека я даже слишком учен. Вы знаете столько знатных господ, столько важных лиц: переберите всех их беспристрастно и скажите, кто из них знает более меня? Не лучше ли будет, когда я стану дома заниматься образованием своего ума чтением, а вместе с тем искать какого-нибудь счастья службою или чем вам угодно? Подумайте, тетушка и, пожалуйста, не слушайтесь этого медведя, Грабилина, который для того только советует вам посылать меня в пансион, чтоб избавляться от моего присутствия. – Я приметил, что тетушка покраснела от сих последних слов.

– Делай как хочешь, Ваничка, – сказала она. – Я не хочу принуждать тебя. Я сама вижу, что ты умнее всех, кого только я знаю.

– Итак, с завтрашнего дня конец моему походу в пансион, – сказал я.

– Конеч, – повторила тетушка, – только не надобно говорить об этом Грабину. Ты сиди в своей комнате, когда он бывает у меня, или выходи со двора.

– Прекрасно! – Я бросился целовать тетушку и в тот же день объявил г-ну Лебриллиану, что я уже не стану посещать его пансиона. Как за меня было заплачено за полгода вперед и мы не требовали возврата денег, то он был доволен и дал мне такой великолепный аттестат, на огромном пергаментном листе, что если б верить половине того, что там было написано, то меня бы смело можно было причислить к семи мудрецам Греции. Тетушка и я верили чистосердечно всему написанному в аттестате: она – оттого, что любила меня до безумия, а я – потому, что не встречал до тех пор человека, который бы заслужил мое уважение своими познаниями и умом.

Читатели, вероятно, уже заметили, что до сих пор не было упомянуто о том, чтоб кто-нибудь занимался преподаванием мне правил веры, нравственности и образованием моего сердца. Я сперва был в самом низком сословии людей, а после того разом шагнул на такую степень, которую занимают в свете только дети, рожденные от знатных и богатых родителей. В первом сословии вовсе не занимаются образованием нравственной природы человека, довольствуясь механическим изучением всех телодвижений, нужных для прислуги, точно так, как обучают пуделей носить поноску; в другом звании пекутся единственно о том, чтобы сделать из мальчика человека, во всем похожего на тех людей, которые, по рождению или по богатству, имеют право жить в так называемом большом свете. А как в блистательных обществах не разговаривают ни о религии, ни о философии и как там вовсе не занимаются ни учеными людьми, ни науками, ни поведением своих знакомых, то французский язык, танцевание и знание светских приличий составляют всю светскую премудрость. За это только платят деньги французским наставникам, и они делают только то, чего от них требуют. Я торжественно признаю г-на Лебриллиана нимало невиновным в том, что я, кончив воспитание в его пансионе, не имел никакого понятия о должностях человека и гражданина. Об этом никто не просил его, а благовоспитанный человек не должен навязываться с услугами, о которых его не просят. Исполнять свой долг по совести есть обыкновение среднего сословия, которое в большом свете называют *«дурным обществом»*, *la manvaise compagnie*!

Едва успел я насладиться моею свободою около месяца, как грусть омрачила мое сладкое бездействие. Однажды вечером, когда г-жа Штосина играла в карты, я, по обыкновению, искал случая поговорить наедине с Грунею; служанка, проходя мимо меня, шепнула мне, чтоб я прошел прямо в спальню к барышне. Я застал Груню в слезах. Она сказала мне, что матушка ее едет вместе с нею в Оренбург, для получения наследства после двоюродного брата своего мужа. Сей почтенный братец был сперва секретарем по соляной части, а после того приставом при меновом торге с киргизцами. Он слыл всю жизнь весьма бедным человеком и даже получал несколько раз денежные пособия от правительства, по недостаточному

состоянию; но после смерти его, когда стали опечатывать его имущество, нашли ломбардных билетов и векселей более нежели на полмиллиона рублей. При жизни его не слышно было вовсе об его родне, и даже г. Штосин отрекался от него всякий раз, когда надобно было помочь ему; но лишь только открылось наследство, то появилось несколько дюжин родственников, которые, в память покойного, завели между собою тяжбу. Отъезд г-жи Штосиной назначен был чрез неделю, а возвращение – на неопределенное время. Поплакав вместе, мы повторили наши клятвы в вечной любви и верности и согласились всякую почту писать друг к другу, пока я не найду случая отправиться в Оренбург. Я обещал это Груне, не думая, каким образом могу исполнить. На другой день я рассказал обо всем другу моему, Вороватину, который тотчас обещал во всем помочь мне и даже отвезть в Оренбург, где, по его совету, мне надлежало похитить Груню, жениться на ней и, в качестве наследника богатого киргизского пристава, требовать своей части судебным порядком, если б г-жа Штосина не хотела отдать нам наследства по доброй воле: Груня, по отцу своему, была настоящею наследницей.

Между тем Грабилин известился стороною, что я уже кончил мое учение в пансионе; и как он прежде выгонял меня из дому в классы, так теперь стал гнать в службу. Я вознамерился употребить отвращение его ко мне в пользу свою.

Напрасно было бы описывать слезы, рыдания, обмороки при разлуке моей с Грунею. Это вещи скучные и всем известные. Лишь только она уехала в Оренбург, я стал искать средства поспешить за нею. Вороватин, сжался над моею грустью, вознамерился немедленно проводить меня к моей возлюбленной и даже советовал мне отправиться без позволения тетушки. Но я не соглашался на это и, чрез месяц после отъезда Груни, выманил согласие тетушки следующим образом.

– Тетушка! – сказал я. – Мне обещают хорошее место при Монетном дворе, в Москве. Но как для этого надобно несколько опытности, то один из моих знакомых, служащий по Горному правлению, хочет взять меня с собою в Оренбург. Он пробудет там не более четырех месяцев, для ревизии дел, и я буду при нем в звании письмоводителя. Возвратясь а Москву, я буду иметь право требовать штатного места, и мой покровитель ручается, что я тотчас буду принят в службу по его предстательству и за мои предварительные труды. Согласитесь, тетушка! Не лучше ли, чтоб я обязан был счастьем самому себе и своим трудам, нежели вашим приятелям, которые, кажется, не очень меня любят? Вы знаете, что без офицерского чина мне нельзя показаться в люди.

Тетушка долго не соглашалась расстаться со мною, но когда я рассказал г-ну Грабилину эту сказку, вымышленную Вороватиным, то он принудил тетушку отпустить меня. Один из приятелей Вороватина взялся сыграть перед тетушкою роль чиновника Горного правления и убедил ее поверить меня его попечению, обещая все возможные выгоды по службе. Тетушка снарядила меня в дорогу и порядочно наполнила мой бумажник. Даже Грабилин подарил мне пятьдесят рублей серебром. Добрый старичишка, князь Чванов, который из привычки, сделавшейся неисцелимою, ездил почти ежедневно к тетушке, также дал мне денег и рекомендательное письмо к губернатору. Простившись с тетушкою, я сел в коляску с приятелем Вороватина, а он сам ожидал нас за заставою. Я был точно как в горячке от борения противоположных чувствований, любви к тетушке, сожаления и грусти, что оставляю ее, и радостной надежды на свидание с Грунею, на женитьбу, приобретение богатства и независимости. Рассеянность дороги несколько успокоила меня; но я невольно всегда думал более о тетушке, нежели о Груне.

ГЛАВА XI

Я УЗНАЮ КОРОЧЕ ВОРОВАТИНА. ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕДЧУВСТВИЯ. КАПИТАН-ИСПРАВНИК

- Сколько у тебя денег? – спросил меня Вороватин на первой станции.
- Сто пятьдесят рублей серебром.
- Прекрасный капиталец! – воскликнул Вороватин. – В твои лета немногие имеют столько денег в руках. Ты богаче меня, Ваня. Справедливость требует, чтобы ты платил за половину путевых издержек.
- Я иначе и не думал, – отвечал я, – и хотел рассчитаться с вами по приезде на место.
- Это все равно, – сказал Вороватин, – но как ты еще не привык обращаться с деньгами, то отдай их мне, на сохранение.
- Они, кажется, лежат безопасно в моем чемодане.
- Они лучше будут лежать в моем сундуке, под замком, – возразил Вороватин.
- Как вам угодно! – сказал я и тотчас отдал ему мои деньги, оставив себе несколько серебряных рублей, на мелочные издержки. Несколько станций Вороватин был молчалив и задумчив; наконец он завел разговор самым важным и холодным тоном.
- Неужели тетушка не говорила тебе никогда о твоём отце? – спросил Вороватин, устремив на меня проницательный взгляд.
- Ничего, кроме того, что я вам сказал.
- Странно, очень странно! – проворчал Вороватин.
- Я не вижу ни малейшей странности, – сказал я. – Если б в жизни моего покойного отца было что-нибудь любопытное, то тетушка, верно, рассказала бы мне. Не знаете ли вы чего-нибудь? – примолвил я, смотря также в глаза Вороватину. – Вы очень обяжете меня, если скажете что-нибудь на этот счет.
- А мне почему знать! – отвечал сухо Вороватин.
- Если это так мало вас беспокоит, то зачем же эта недоверчивость?
- Ты еще не знаешь женских уловок и хитростей, – сказал Вороватин. – Когда потерпишь от них, тогда будешь к ним недоверчив.
- Я не имею ни малейшей причины не доверять моей тетушке, которая любит меня как родного сына, сделала для меня все, что только была в состоянии сделать, и готова всем для меня жертвовать.
- Вот в том-то и сила, – возразил Вороватин. – И трудно верить, чтоб тетушка твоя, любя тебя, никогда не говорила тебе о состоянии твоего отца, о будущих надеждах и разных приключениях.
- Хотя вы и давали мне советы, чтоб я не был никогда искренен, но я еще не научился следовать в точности вашим наставлениям, – сказал я с некоторою досадой. – Повторяю: о состоянии моего покойного отца, об его происхождении тетушка сказала мне все, что почла нужным, а приключения его, видно, незанимательны, когда она об них умолчала. Впрочем, я, возвратись в Москву, расспрошу ее подробнее об этом предмете, который до сих пор почитал маловажным.
- Теперь поздно, – сказал Вороватин, с притворною улыбкой.
- Почему же поздно? – спросил я.
- Вороватин вдруг засмеялся каким-то ужасным смехом и сказал:

– Поживем – увидим! – Он обратил разговор на другие предметы и старался меня рассеять; но у меня налегла грусть на сердце: я был печален и молчалив. С этих пор доверенность моя к Вороватину исчезла и я стал опасаться, чтоб он не повредил мне у Груни, рассказав, чем я был прежде. Он, однако ж, стал по-прежнему ко мне ласкаться и оболащивать надеждами насчет женитьбы и приобретения богатства.

Мы остановились ночевать на почтовом дворе, в одном небольшом городке. К вечеру приехал на перекладных какой-то человек средних лет и остановился также на ночлег. Я приметил из окна, что Вороватин фамильярно поздоровался с новоприезжим, который, однако ж, наблюдал подчиненность в обращении с ним и не прежде надел картуз, как Вороватин велел ему накрыться. Они отошли за угол дома, к стене, где не было окон, и стали между собою разговаривать; но как ветер был с той стороны, то я, перешед в угольную комнату, слышал часть их разговора.

– Ты слишком поторопился, Пафнutyч, – сказал Вороватин. – Надобно было бы подождать, пока я обживусь на месте и обдумаю способы. Ведь нельзя ж камень на шею да в воду.

– Уж это не мое дело, как сбыть его с рук, – отвечал новоприезжий, – но графиня не давала мне покою и насильно выгнала в дорогу. Говорят, что граф возвращается в Москву...

Тут ветер прихлопнул ворота, и я от скрипа и стука не слышал конца речи.

– Виноват ли я, – сказал Вороватин, – что графиня не хочет спровадить его с этого света? Уж где только совесть замешается в дела...

Извозчик, бывший на дворе, кликнул громко своего товарища, и я снова не дослышал конца речи Вороватина. После того незнакомец сказал:

– Мне велено остаться при вас до конца дела, помогать вам во всем и после немедленно возвратиться к графине, в подмосковную...

При сих словах Вороватин и незнакомец вышли за ворота, а я остался у окна в недоумении и беспокойстве насчет слышанного. Нельзя было сомневаться, что Вороватин замышляет какое-то злодейство, и я, зная образ его мыслей, был уверен, что ни страх Божий, ни совесть не удержат его от преступления. Но кто эта несчастная жертва, на погибель которой составлен заговор? Какая это графиня, которая с нетерпением ожидает известия о несчастье ближнего? Кто этот граф? Кто таков новоприезжий? Эта тайна, в которой я предусматривал чью-то погибель, терзала меня. Я чувствовал, что напрасно было бы спрашивать Вороватина и сказать ему, что я подслушал часть разговора его с незнакомцем. Я даже опасался, чтоб открытием его замыслов не навлечь на себя его гнева и даже мщенья; итак, я решился молчать, наблюдать и, если будет возможность, воспрепятствовать исполнению злого намерения. Мучимый сими мыслями, я прохаживался по комнате в сильном душевном волнении. Сердце мое сильно билось, голова казалась тяжелою, во рту было сухо. Я пошел в комнату станционного смотрителя, чтоб напиться воды, и случайно увидел подорожную новоприезжего. Из нее узнал я, что сообщник Вороватина коломенский мещанин, Прохор Ножов, и что он едет из Москвы в Оренбург.

Для рассеянья пошел я прогуляться по городу. Но в наших заштатных городах мало развлечения для путешественника. Вот что видел я, бродя из конца в конец, по мосткам: оборванные мальчишки, голодные собаки, рогатый скот и домашние птицы дружно топтали грязь на середине улицы. Старухи, поджав руки, стояли у ворот бревенчатых домов и оговаривали соседок или перебранивались между собою. Взрослые мужчины толпились перед питейным домом, где заседали старики, а юноши с балалайками и варганами расхаживали перед окнами, из которых выглядывали иногда миленькие женские личики. В нескольких местах слышны были звуки заунывных песен, и, для оживления картины, в двух местах смиренные граждане тягались за волосы, в кругу добрых соседей и приятелей, а нескольких почтенных и чадолюбивых отцов семейства, упитанных благословенными дарами откупщиков, вели под руки дюжие парни, распевая плясовые песни. Это был праздничный вечер.

Город был не что иное, как обширное четверугольное пространство, обнесенное полуразрушившимся плетнем; три четверти огороженной земли заняты были выгоном. В середине всего объема лежала широкая улица, или, лучше сказать, почтовая дорога: по обеим сторонам ее, за рвами, выстроены были небольшие деревянные домики и лачуги. Вправо и влево было несколько улиц со вросшими в землю избушками и большими пустыми промежутками, с развалинами плетней и заборов. В середине находилась площадь, на которой возвышалась каменная церковь и полуразрушенное кирпичное здание, где некогда предполагалось поместить судебные места. На бумаге этот город занимал весьма много места, и все улицы, означенные в натуре взрытою землею и следом бывших рвов, представляли на плане прекрасную перспективу. Жаль только, что кучи навоза и разбросанные в беспорядке гряды заменяли место большей части домов, прекрасно нарисованных губернским архитектором. Читатели мои, конечно, видали много таких городов. Но как имена их существуют на ландкартах и на планах, хранящихся в межевых конторах, и как места для строения домов означены, и даже фасады придуманы: то кажется, что половина дела уже сделана. Впрочем, никто не виноват: человек предполагает, Бог располагает (*l'homme propose Dieu dispose*)! Города так же невозможно сделать многолюдным, без особенных местных выгод, как произвольно установить вексельный курс.

Возвращаясь на почтовый двор, я застал Вороватина в весьма веселом расположении духа. Он дожидался меня к ужину и между тем, потчевая водкою смотрителя, расспрашивал его про житье-бытье каждого из окрестных помещиков, об уездных чиновниках и обо всех провинциальных новостях. Это делал Вороватин на каждой станции и, поверяя слова смотрителей с рассказами ямщиков и содержателей питейных и постоялых дворов на большой дороге, составлял из этого свои замечания и записывал в свою памятную книжку. Когда я однажды спросил его о причине сего любопытства, Вороватин отвечал хладнокровно:

– Почему знать, с кем придется иметь дело в жизни! Но когда знаешь образ мыслей и поступки многих людей, то при случае можно употребить это в свою пользу. Я почитаю людей аптекарскими материалами, которых свойства надобно знать, чтоб пользоваться ими. В светском быту, так как в экономии природы, ничто не пропадает, если умный человек знает, как употребить различные качества и страсти людей. Яд в руках мудрого служит к исцелению недуга, и величайший плут или глупец также может быть иногда полезен умному в его делах. – Вороватин, сказав мне это, кончил, по своему обыкновению, смехом, примолвив: – Запиши, Ваня, это нравоучение в своем календаре. Это одно из важных правил моей философской школы. – Я тогда принял это за шутку, но после подслушанного мною разговора расспросы Вороватина производили во мне неприятные впечатления; ибо я знал, что они могут клониться к какой-нибудь вредной цели.

Есть люди, которые думают, что грусть можно утопить в вине. Я не испытал этого на себе в течение жизни. В первый раз я хотел противу воли есть и пить, но вино казалось мне желчью, а пища безвкусною и тяжелою как камень. Проницательный Вороватин приметил, что я не в своем духе, но не отгадал причины.

– Мне кажется, что ты гневаешься на меня, Выжигин? – сказал он.

Я молчал.

– Неужели вопрос мой о твоём отце мог опечалить тебя до такой степени? – примолвил он.

– Не вопрос, но недоверчивость ваша мне весьма неприятна, – отвечал я.

– Итак, извини, любезнейший! – воскликнул Вороватин, обнимая меня. – Верь, что я расспрашивал тебя единственно из любви к тебе. Мне сказали в Москве, будто после отца твоего осталось именьё, будто тетушка присвоила его себе и Бог весть что, и я хотел только выведасть, знаешь ли ты об этом.

– В таком случае надлежало бы сообщить мне ваши сомнения, без обиняков. Раздумав хорошенько, я сам чувствую, что в моей краткой жизни весьма много непонятного. Может ли быть что страннее, например, как то, что дворянский сын был брошен, как котенок, на произвол судьбы, в имении Гологордовского и что никто не отыскивал его и не заботился об нем, до случайной встречи с тетушкой? Но чтоб это сделано было для лишения меня богатства, этому я не могу верить, получив столько доказательств любви тетушки. Она готова отдать за меня жизнь свою, не только все, что имеет, и если б выгода ее состояла в том, чтоб я не знал моих родственников, то она никогда бы не призналась ко мне.

– Ты рассуждаешь, как книга, – отвечал Вороватин, – но я столько испытал в жизни, что привык ничему не верить, кроме дурного.

– Сожалею об вас, – сказал я, – и желал бы отдалить от себя эпоху этой горькой опытности.

– Согласись, однако ж, – примолвил Вороватин, – что весьма удивительно или, лучше сказать, непостижимо, что тетушка узнала тебя в магазине, не выдав от пеленок!

– Не спорю, что это должно казаться вам удивительным, но оттого только, что я не объяснил вам всех обстоятельств. У тетушки моей есть два весьма схожие портрета моего отца: один, писанный в его детстве, именно в том возрасте, в котором она встретила меня в магазине; другой, на 25-м году от рождения, в год его женитьбы на моей покойной матушке. Я видел эти портреты и признаюсь, что такого сходства, как между мною и отцом моим, трудно найти в целом мире. Здесь даже две капли воды недостаточны для сравнения. Тетушка говорит, что, кроме того, голос мой, походка, улыбка и даже все ухватки день ото дня становятся более и более сходными с отцовскими и что кто раз в жизни видел моего отца в молодости или на портрете, тот с первого взгляда узнает во мне его сына. Итак, видите, что нимало не удивительно, когда тетушка, имея всегда на туалете эти два портрета и рассматривая их ежедневно, поражена была сходством моим с отцом при первой встрече и что, зная мою примету, удостоверилась, что я точно ее племянник. Надобно более удивляться моей ветрености и беззаботности, что мне никогда не пришло в голову расспрашивать тетушку о моих родителях.

Вороватин слушал меня внимательно, пристально смотрел мне в глаза и погрузился в размышление. Наконец он встал из-за стола и сказал:

– Полно говорить об этом. Дело кончено; теперь пора спать.

Долго я не мог сомкнуть глаз. Я в первый раз стал раскаиваться в том, что обманул тетушку, что легкомысленно вздумал влюбиться в Груню, что пустился в отдаленный город искать любовных приключений и связался с безнравственным человеком. Рассудок можно уподобить солнцу, а страсти пожару. Человек, находясь в доме, объятom пламенем и наполненном дымом, не видит солнца. Но когда пожар утихнет, тогда благодетельное сияние дневного светила приятнее и ощутительнее. Рассудок заговорил во мне, и я почувствовал, что поступки мои должны вовлечь меня в неприятные обстоятельства, особенно в обществе Вороватина. Я решился возвратиться в Москву при первом случае, определиться на службу, быть осторожнее в выборе знакомств и никогда более не влюбляться, а главное – отвязаться навсегда от Вороватина. Так обыкновенно мы в дурных обстоятельствах составляем мудрые проекты, которые забываются, когда беда или опасность проходит.

Я не суеверен, но некоторые предрассудки (если их можно назвать предрассудками) сильно укоренились во мне, и ни лета, ни опытность, ни рассудок не могут истребить их. Главные из них: вера в предчувствия и в физиономические приметы. Этот день был первым в жизни моей, с которого я начал верить в эти, так называемые, предрассудки. Вот в каком состоянии бывал я всегда, когда какое-нибудь несчастье мне угрожало. Сердце мое билось сильнее обыкновенного, ныло, как будто бы на нем была рана; кровь неправильно переливалась в жилах и, доходя до сердца, производила ощущение неприятное. Все, что только я

видел и испытал горького в жизни, представлялось тогда моему воображению, и в смешении образовало какую-то мрачную картину в будущем. В этой картине я всегда представлял самое несчастное лицо. Сон мой был беспокойный, тревожимый самыми ужасными сновидениями. Какая-то слабость тела сопровождала этот недуг душевный, и каждый пронизывающий взгляд на меня, каждый вопрос возбуждали во мне подозрение; каждый стук или даже громкое восклицание, каждое появление нового, неожиданного лица порождали мгновенный страх. Люди, самые близкие ко мне, в любви и дружбе коих я никогда не сомневался, были мне тогда несносными. С каждым мгновением я ожидал удара судьбы, как осужденный преступник казни, и, признаюсь, редко случалось, чтобы после такого состояния души моей я не впадал в какое-либо несчастье или, по крайней мере, не подвергался неприятности. Что же касается до физиономий, то я первый урок почерпнул в чертах Вороватина, которого стал наблюдать с этого дня с величайшим вниманием, взвешивать все его слова и поступки и всматриваться в черты его лица. С тех пор я не мог преодолеть себя во всю мою жизнь, чтобы не судить о людях по впечатлению, произведенному во мне при первой встрече. Впоследствии я читал сочинения Лафатера и Делапорта о физиономиях, но всегда держусь своей собственной системы и сужу не по чертам лица, но, так сказать, по игре физиономии и по приемам. Если человек смотрит на меня исподлобья или вовсе не смотрит в глаза, когда говорит, если он процеживает слова сквозь зубы и обдуманно сочиняет предложения во время разговора; если он разговаривает со мною вопросами и, всегда требуя моего мнения, безмолвно соглашается со мною или для того только противоречит, чтобы заставить меня полнее изъясниться, — признаюсь, я не верю этому человеку. Принужденная улыбка и ложный смех служат для меня указателями неискренности. Grimасы, делаемые невольно ртом, беспрестанное движение губ и закусывание их для меня дурная примета. Неровная походка, в которой видны какие-то лисьи увертки, сжатие всего тела к одному центру или сгорбление, наподобие кота перед мясом; вытянутая вперед голова, как у змеи, которая хочет броситься на добычу, — для меня отвратительны и обнаруживают дурного человека. Громкое изъяснение радости и лобзание каждого знакомого при встрече мне кажутся весьма подозрительными. Кончу мое небольшое отступление сознанием, что я иногда ошибался в предчувствиях, но никогда не ошибался в физиономиях. Многих физиономических примет моих я теперь не описываю: читатели увидят их впоследствии из портретов многих лиц, с которыми я встречался в жизни. Что же касается до предчувствий, то я должен сказать, что они всегда случались со мною после какого-нибудь проступка или неосторожности, когда я мог ожидать заслуженной или незаслуженной неприятности от моих врагов. Это было не причиною, но следствием; не предостерегательным гением, наподобие Сократова, но гением известительным. Впрочем, кто имеет дело с самолюбием и страстями людскими, тот весьма часто должен ожидать беды, хотя бы ничего дурного не сделал, а иногда за то именно, чем заслуживаешь похвалу и награду. На свете так водится: кто сам не делает зла, тот должен подвергаться испытанию и терпеть зло от других. Разница доброго человека со злым в этом случае та, что добрый в величайшем несчастье находит утешение в своей совести и в мнении честных людей, а для злого нет ни отрады, ни надежды на тот мир, где сильные не могут давить слабых. Но обратимся к повествованию.

Не умея хорошо притворяться, я не мог принять на себя веселого вида, а чтобы отвлечь всякое подозрение, сказал Вороватину, что чувствую себя нездоровым. Не знаю, поверил ли он мне, но он удвоил свои ласки и внимание ко мне и ухаживал за мною с нежностью отца, что несколько примирило меня с ним. Чтоб дать мне отдохнуть, он остановился на несколько дней в одном уездном городке, лежащем в прекрасном месте, на берегу Волги. Вороватин имел здесь старого приятеля, капитан-исправника, с которым он обходился весьма откровенно. В их беседе я услышал такие вещи, о каких прежде не имел ника-

кого понятия. Как они, в свое время, произвели во мне сильное впечатление, то я сообщу некоторые подробности моим читателям.

Савва Саввич почитался одним из расторопнейших капитан-исправников в целой губернии. Он был исполинского роста и, служив некогда в полицейских драгунах, сохранил военную вытяжку и приемы, держался всегда прямо как палка и поворачивался быстро всем телом. Лета и винные пары до такой степени ослабили корни его волос, что они все почти вылезли, исключая нескольких клочков на висках и на затылке. Длинный нос его и окончательно тощего лица покрыты были багровым лаком; из-под густых поседелых бровей сверкали небольшие серо-кошачьи глаза. Он ходил всегда в губернском мундирном сертуке и опоясан был поверху казачьей портупеей. Саблю прицеплял он тогда только, когда отправлялся куда-нибудь по должности, а всегдашнее оружие его составляла казачья нагайка со свинцовою пулей, вплетенною в кончик. Голову покрывал он обыкновенно кожаным картузом с стоячею гривкою, что придавало ему воинственный вид. Голос его похож был на рев медведя. Бумажные дела его исправлял старый писец, который три четверти жизни проводил привязанный к столу за ногу. Кроме того, Савва Саввич приказывал снимать с него сапоги, чтоб воспрепятствовать частым отлучкам в питейный дом. Но ловкий писец находил средство напиваться, не вставая со стула. Услужливые присяжные приносили ему вино в аптечных стеклянках, по несколько раз в час, с тех пор как Савва Саввич стал искать бутылок и штофов в печи, в трубе и даже за обоями. В праздники позволялось писцу упиваться, и тогда обыкновенно его приносили одеревенелого на ночлег в арестантскую и отливали водою. В разъездах по уезду Фомич (так назывался писец) имел также полное право пить мертвую чашу несколько дней сряду, но только по окончании дела, ибо похмелье его сопровождалось трясением руки, что делало его неспособным к работе. Савва Саввич называл Фомича _золотым человеком_ и склонность его к пьянству приписывал необыкновенным дарованиям, которые, по мнению старинных людей, не могли процветать, не быв окропляемы водкою, а поэтому надлежало заключать, что и Савва Саввич был гений. Однако ж Савва Саввич был сам большой знаток в делах, особенно в допросах, следствиях и повальных обысках, но только он не умел изливать на бумагу своих мыслей так легко, как лил в горло крепкие напитки; не мог приискать в обеих столицах таких очков, посредством которых можно было бы читать скорописные бумаги, хоть по складам, так как печатное, и, по множеству дел, не помнил чисел указов. В этом заменял его Фомич. Жители уезда, за исправность Саввы Саввича, прозвали его _серым волком_, а верный его сотрудник, Фомич, прозван был _западней_.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.